

© 2022. В. Г. Андреева

Институт мировой литературы им. А. М. Горького
Российской академии наук
г. Москва, Россия

Н. В. Гоголь и Л. Н. Толстой: преемственность эпической традиции

*Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований в рамках научного проекта № 20-012-00102*

Аннотация: В статье поднимается проблема творческого освоения Л. Н. Толстым открытий, тем и художественных образов Н. В. Гоголя. Обращаясь преимущественно к позднему периоду работы писателей, автор статьи обозначает параллелизм их пути. Толстой чувствовал сходство мировоззренческих и художественных сложностей, встававших перед ним самим и его предшественником, в определенный момент признавал, что следует за Гоголем, «нашим Паскалем». Отмечается, что большой интерес Толстого к «Выбранным местам из переписки с друзьями» в конце 1880-х гг. заставил его переосмыслить творчество Гоголя, обратиться к поэме «Мертвые души» для поиска гармоничного сопряжения между обличением пороков современной действительности и мыслью о своевременности покаяния и радости грядущего Воскресения. В статье проводится сопоставление помещиков из поэмы «Мертвые души» Гоголя и чиновников из романа «Воскресение» Толстого, отмечается, что на фоне общей сатирической манеры повествования в поэме и эпическом романе писатели обратились к представлению тяжелых условий выживания русского народа, с позиции которого и оценивается все происходящее в их художественных мирах.

Ключевые слова: Гоголь, Л. Толстой, эпос, эпический роман, творческие освоения, преемственность, художественные переключки, проповедь, религиозный поиск, народная позиция.

Информация об авторе: Валерия Геннадьевна Андреева, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник, Институт мировой литературы им. А. М. Горького Российской академии наук, ул. Поварская, д. 25 а, 121069 г. Москва, Россия. ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-4558-3153>

E-mail: lanfra87@mail.ru

Дата поступления статьи в редакцию: 28.11.2021

Дата одобрения статьи рецензентами: 18.02.2022

Дата публикации статьи: 05.04.2022

Для цитирования: Андреева В. Г. Н. В. Гоголь и Л. Н. Толстой: преемственность эпической традиции // Два века русской классики. 2022. Т. 4, № 1. С. 118–165. <https://doi.org/10.22455/2686-7494-2022-4-1-118-165>



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Dva veka russkoi klassiki,
vol. 4, no. 1, 2022, pp. 118–165. ISSN 2686-7494
Two centuries of the Russian classics,
vol. 4, no. 1, 2022, pp. 118–165. ISSN 2686-7494

Research Article

© 2022. Valeria G. Andreeva

A. M. Gorky Institute of World Literature
of the Russian Academy of Sciences,
Moscow, Russia

N. V. Gogol and L. N. Tolstoy: the Continuity of the Epic Tradition

Acknowledgments: The study was supported by the Russian Foundation for Basic Research (RFBR), number 20-012-00102.

Abstract: The article raises the issue of L. N. Tolstoy's creative assimilation of the themes, discoveries and artistic images of N. V. Gogol. Referring mainly to the late period of the writers' work, the author indicates the parallelism of their path. Tolstoy felt the similarity of philosophical and artistic complexities that confronted him and his predecessor, at a certain moment he admitted that he was following Gogol, "our Pascal." It is noted that Tolstoy's great interest in "Selected Passages from Correspondence with Friends" in the late 1880s forced him to rethink Gogol's work, and turn to the poem "Dead Souls" to find a harmonious pairing of denunciation of modern vices with the thought of the timeliness of repentance and the joy of the coming Resurrection. The article makes a significant comparison of the landlords from Gogol's poem "Dead Souls" and the officials from Tolstoy's novel "Resurrection," it is noted that against the background of the general satirical manner of narration in the poem and the epic novel, the writers turned to the difficult conditions for the survival of the Russian people, from the position of which everything that happens in their artistic worlds is estimated.

Keywords: Gogol, L. Tolstoy, epic, epic novel, creative exploration, continuity, artistic resemblance, sermon, religious search, popular position.

Information about the author: Valeria G. Andreeva, DSc in Philology, Leading Research Fellow, A. M. Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences, Povarskaya 25 a, 121069 Moscow, Russia. ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-4558-3153>

E-mail: lanfra87@mail.ru

Received: November 28, 2021

Approved after reviewing: February 18, 2022

Published: April 05, 2022

For citation: Andreeva, V. G. "N. V. Gogol and L. N. Tolstoy: the Continuity of the Epic Tradition." *Dva veka russkoi klassiki*, vol. 4, no. 1, 2022, pp. 118–165. (In Russ.) <https://doi.org/10.22455/2686-7494-2022-4-1-118-165>

Проблема творческого освоения Л. Н. Толстым важнейших открытий, художественных находок и гениальных достижений Н. В. Гоголя до сих пор остается в литературоведении полностью неисследованной. Вскользь она была обозначена отдельными известными учеными, к примеру, Г. М. Фридлиндером: «Вера Гоголя в возможность воскресения России и русского человека для новой, лучшей жизни по “закону Христову” была по-разному воспринята его преемниками — Толстым и Достоевским. Она получила свое дальнейшее развитие в “Войне и мире” и “Воскресении”, так же как в великих романах Достоевского от “Преступления и наказания” до “Братьев Карамазовых”» [Фридлиндер: 19]. Далее Г. М. Фридлиндер пишет частично о Гоголе и Достоевском, но влияние Гоголя на Толстого в целостном и системном его изучении до сих пор не было предметом исследования. Учеными лишь намечены некоторые подступы к указанному вопросу, однако они имеют форму общих суждений о сопоставленном или частично перекликающемся в некоторых ключевых моментах духовном пути двух великих классиков, переживших ряд знаковых сомнений, колебаний и разочарований. Так, в интересной статье «Два ухода: Гоголь, Толстой» С. Г. Бочаров говорит о «традиции гоголевской, толстовской»: «...именно эти двое в XIX в. дали пример ухода в том биографически-творческом смысле, о каком мы здесь строим этот сюжет. В том особом смысле, какой мы после Толстого стали вкладывать в это слово. И событие литературное в обоих случаях имело характер события религиозного» [Бочаров: 14]. С. Г. Бочаров, действительно, в общих чертах выстраивает линию духовного движения писателей, отмечая некоторые переклички: «“Исповеди” Толстого предшествовала “Авторская исповедь” Гоголя. У того и другого художника на пути поворота был отход от прирожденного им художественного слова к слову прямому и личному, к тому же исповедальному» [Бочаров: 15]. Ученый, конечно, анализирует и эволюцию писателей, но более всего его привлекает оценка схожих

и много объясняющих финалов земного пути Гоголя и Толстого, отречения писателей от своих произведений: «Гоголевский уход, на десять лет растянувшийся, как потом на тридцать лет растянется толстовский уход. У того и другого уход из искусства открывал путь к уходу из жизни» [Бочаров: 16].

Тут необходимо сделать два существенных замечания. Во-первых, хотя мы в данной статье обращаемся преимущественно к позднему творчеству Гоголя и Толстого, нельзя не признать, что не только для последних лет, но и для времени всей художественной и публицистической работы обоих писателей был характерен напряженный духовный и религиозный поиск, попытка выстроить свою жизнь согласно православным заветам и показать современникам и потомкам истинные смыслы бытия. Фактически уже первые ранние произведения Гоголя сочетают высокое художественное мастерство с христианским поучением. То же самое можно сказать и о Толстом, который в Севастопольских рассказах выходит не просто к осмыслению фаз и этапов жизни человека, но к становлению личности, итогу ее бытия, эпическому мироощущению, пониманию вечности и универсальности исключительно божественных законов. Примечательно, что и у Гоголя, и у Толстого образы национальной сплоченности, народного единства, братства становятся ключевыми уже в ранний период творчества, и в свете поздних религиозных воззрений рождают идею согласной взаимной помощи людей, без которой немислимо духовное воскресение.

Во-вторых, С. Г. Бочаров пишет, что гоголевско-толстовская параллель была замечена еще до него в работах не только литературоведов — тут исследователь ссылается на высказывания Л. Я. Гинзбург, — но и многих других литераторов, самого Толстого, несколько раз указывавшего на огромную роль Гоголя в истории русской литературы и возможного изменения мировидения людей. Однако выводы о параллелях и переключках у Гоголя и Толстого, о сходстве их идей в литературоведении носят до сих пор поверхностный характер.

Литературоведы не раз отмечали, что «Л. Н. Толстой при всей его несхожести с Н. В. Гоголем воспринимался современниками как продолжатель гоголевских традиций» [Штаб: 44]. Однако аналитическое изучение мнений литераторов, критиков XIX в. о творчестве Гоголя позволяет прийти к выводу, что эти верные замечания об определен-

ной художественной близости писателей были построены на догадках, на внешнем сопоставлении манеры, описаний, наконец, сходств в предметах изображения — сложно было даже интуитивно не почувствовать выход Гоголя и Толстого к важнейшим патриотическим темам, к проблеме постоянного выбора человека и его ответственности за каждый свой шаг. Однако литературоведы XX в. не уходили дальше указания на «тональность изображения социальных полюсов» у Гоголя и Толстого [Куприянова: 356]. И в этом плане всегда существовала опасность неверного истолкования поздних произведений Гоголя (прежде всего, «Мертвых душ») и Толстого («Анна Каренина», поздние повести, «Воскресение», «Хаджи-Мурат») исключительно как обличительных, направленных не на утверждение высоких идеалов, а на общественно-политический протест писателей против форм и устройства современного им общества, осмеяние определенных социальных ролей. И. А. Виноградов точно отмечает, что как религиозный мыслитель Гоголь «почти не был понят современниками, а его художественное творчество было истолковано превратно». «Только немногим, за исключением ближайших друзей: Погодина, Шевырева, Аксакова, Жуковского и некоторых других — было очевидно пророческое призвание Гоголя», — пишет ученый [Виноградов 2018b: 83]. Такую же ошибку в отношении поздних произведений Толстого, в частности его романа «Воскресение», совершали многие современники писателя и исследователи. У Толстого был свой непростой путь к осмыслению наследия Гоголя и его роли в русской литературе и жизни в целом. В. А. Штаб рассматривает особенности читательского диалога Толстого с Гоголем, выявляя точки соприкосновения, говорит о «систематическом сознательном обращении» Толстого к идеям, материалам, мотивам Гоголя с целью поставить их на службу собственным эстетическим и этическим интересам» [Штаб: 44–45]. Ученый констатирует сложную линию прочтения и постижения Толстым Гоголя: через отрицание и осуждение до приятия.

И здесь вновь стоит вернуться к выводам С. Г. Бочарова о некотором сходстве итогов художественного творчества и жизненных финалов писателей. В записях конца 1880-х гг. Толстой сообщает о том, что открывает для себя духовные истины, обозначенные в «Выбранных местах из переписки с друзьями» Гоголя. Жизненные дороги обоих писателей складывались в процессе сложного взаимодействия реализации

личных интересов с ощущением важности художественного и пророческого слов, недостаточной понятности их для читателей, в большей своей части не готовых или не желающих понимать писателей в силу значительной высоты заданных ими нравственных требований и определенной категоричности.

Как отмечают Ф. Т. Гриффитс и С. Дж. Рабинович, писательская карьера Гоголя, «подобно “Мертвым душам”», «тоже сделалась позднее образцом для подражания, ибо русский эпический роман всегда требовал от автора именно такой цены: кто брался за дело всерьез, того жанр этот уводил от повествования к проповедничеству...» [Гриффитс, Рабинович: 75]. И в данном случае можно говорить о некотором параллелизме творческой эволюции Гоголя и Толстого. Несмотря на тот факт, что последний прошел значительно более длительный жизненный путь, был семейным человеком, хозяином-практиком, Толстой, как и Гоголь, и отчасти более удачно задумал и реализовал своеобразное целостное представление о мире, выразившееся в его творчестве в форме романа-эпопеи «Война и мир» и не менее широких и содержательных романах «Анна Каренина» и «Воскресение». Но «побочным эффектом» этих эпических замыслов стала необходимость толстовской публицистики, его воззваний к человечеству и своеобразной проповеди.

В. А. Беглов подчеркнул, что «проблема “эпопея и современность” могла решаться двояко: либо посредством поиска эпопейных истоков в прошлом, либо в проповеди, содержание которой основывалось бы на философских, этических, эстетических началах моделируемого будущего, лишённого негативных сторон настоящего» [Беглов 2005: 88]. Исследователь считает, что Гоголю был ближе первый путь. Однако с последним выводом В. А. Беглова сложно согласиться. По всей видимости, Гоголь мог совместить два указанных направления, но в «Мертвых душах» он обратился именно к форме проповеди — представил своеобразный урок современникам, терпящим настоящие жизненные ориентиры. «...Определение автором жанра “Мертвых душ” как “поэмы” преследовало цель подчеркнуть принадлежность его творения к высоким классическим образцам древней учительской литературы. <...> Согласно Гоголю, его поэма заключала в себе не только древнее эпическое созерцание (на чем настаивал Аксаков), но и учительство (и, конечно, отнюдь не “бессознательное”), как учи-

тельным, по убеждению писателя, было и творчество Гомера», — отмечает И. А. Виноградов [Виноградов 2020: 121].

По всей видимости, в поздний период творчества Толстой вышел не только к осознанию величины личности гениального предшественника, но и усвоил его уроки как публициста, приблизился к разгадке тайны эпических «Мертвых душ». Можно предположить, что художественные и идейные находки Гоголя были Толстым поняты и по достоинству оценены, хотя близкий к Гоголю по духу, Толстой не был согласен с ним в ряде вопросов: прежде всего, во взгляде на Церковь, воинскую службу, упорядоченность и продуманность структур власти. Самое яркое и существенное противопоставление во взглядах писателей касается Церкви. Однако и тут необходимо отметить, что Гоголь говорил об идеальной Церкви как духовном союзе людей во Христе, а не об общественном институте, на который во многом и была направлена критика Толстого. Но еще в одном из этих исключений, касающемся проблемы власти, Толстой идет именно за Гоголем. Обратимся к последней главе книги «Выбранные места из переписки с друзьями» — «Светлое Воскресенье», в которой Гоголь показывает внешний, условный, искусственный характер властей, случайно оказавшихся у руководства различными государственными структурами и людьми, и в силу своей недалекости, а иногда и темноты (как умственной, так и душевной) не могущих вести страну и людей в правильном направлении: «Что значат эти странные власти, образовавшиеся мимо законных, — посторонние, побочные влияния? Что значит, что уже правят миром швеи, портные и ремесленники всякого рода, а Божий помазанники остались в стороне? Люди темные, никому не известные, не имеющие мыслей и чистосердечных убеждений, правят мнениями и мыслями умных людей, и газетный листок, признаваемый лживым всеми, становится нечувствительным законодателем его не уважающего человека. Что значат все незаконные эти законы, которые видимо, в виду всех, чертит исходящая снизу нечистая сила, — и мир это видит весь и, как очарованный, не смеет шевельнуться? Что за страшная насмешка над человечеством!» [Гоголь 8: 415].

Обратим внимание на словосочетание «незаконные эти законы». По сути дела, о том же говорит Толстой в романе «Воскресение». Дмитрий Нехлюдов, глядя за землю, вымощенную камнем и под про-

ливным дождем не впитывающую воду, думает о чиновниках, которые «как эта мощеная земля для дождя» «были непроницаемы для чувства человеколюбия»: «Люди эти признают законом то, что не есть закон, и не признают законом то, что есть вечный, неизменный, неотложный закон, самим Богом написанный в сердцах людей» [Толстой 32: 351]. Гоголь не ставил под сомнение идею государственной службы, делая акцент на сложности ситуации, *не тех людей, оказавшихся у власти*. Толстой же показал, что за пятьдесят с небольшим лет, прошедших со времени выхода «Выбранных мест...», в новых экономических условиях, попорченной оказалась *сама идея государственной службы*, ставшая в руках приспособляющихся людей прикрытием для «самых ужасных злодеяний»: «Если бы была задана психологическая задача: как сделать так, чтобы люди нашего времени, христиане, гуманные, просто добрые люди, совершали самые ужасные злодеяния, не чувствуя себя виноватыми, то возможно только одно решение: надо, чтобы было то самое, что есть, надо, чтобы эти люди были губернаторами, смотрителями, офицерами, полицейскими, то есть, чтобы, во-первых, были уверены, что есть такое дело, называемое государственной службой, при котором можно обращаться с людьми, как с вещами, без человеческого, братского отношения к ним, а во-вторых, чтобы люди этой самой государственной службой были связаны так, чтобы ответственность за последствия их поступков с людьми не падала ни на кого отдельно» [Толстой 32: 351].

И. П. Золотусский справедливо пишет о неослабевающем внимании Толстого к книге Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями» на протяжении всей его жизни. Исследователь проанализировал два издания указанной книги с пометами Толстого, сделанными им при чтении «Выбранных мест...» в 1887 г. и 1909 г. Сопоставляя оценки, отмеченные Толстым на полях, его восклицательные знаки и «NB», И. П. Золотусский приходит к выводу о множественности линий сближения двух больших писателей и мыслителей, открывших христианство «глубоко внутреннее, выстраданное», обратив его моральные максимы на себя [Золотусский]. Исследователь отмечает христианское бесстрашие обоих писателей, их смирение и готовность идти дальше: «На полях главы “Христианин идёт вперёд” выстраивается целая колонка толстовских “NB”. Одно из них стоит против слов Гоголя: “Для христианина нет оконченного курса; он веч-

но ученик и до самого гроба ученик» [Золотусский]. Одно из важных наблюдений, сделанных И. П. Золотусским, касается последней главы «Выбранных мест...» Гоголя — «Светлое Воскресенье». Исследователь сопоставляет два в разное время прочтенных Толстым издания книги Гоголя и отмечает отсутствие в последнем помет писателя в тексте последних глав книги: «В издании В. Тихонравова вслед за “Перепиской с друзьями” следует “Авторская исповедь”. Точно так же следовала она за книгой писем и в издании П. А. Кулиша. Изучая последнее в 1887 году, Толстой активно откликается на эту статью. В экземпляре “Переписки”, который он читает в 1909 году, текст “Авторской исповеди” не тронут. Вероятно, Толстой, имея под рукой оба издания, не стал повторяться и дублировать то, что он когда-то отметил. Что же до заключительной главы книги Гоголя “Светлое Воскресенье”, в издании Кулиша исчерканной Толстым, то её постигла та же судьба, что и “Авторскую исповедь”. Толстой в 1909 году как бы прошёл мимо неё, как прошёл он и мимо замечательной главы “Переписки” “В чём же наконец существо русской поэзии и в чём её особенность”» [Золотусский].

Можно предположить, что «невнимание» Толстого к двум финальным главам книги Гоголя в 1909 г. было вызвано их внимательным прочтением в 1887 г. Подтверждением тому являются характерные отметки Толстого в тексте главы «Светлое Воскресенье»: «В 1887 году Толстой перечёркивает всё её начало, но, дойдя до строк, где говорится, что узы, связывающие нас с небесным Отцом, сильнее земного кровного родства, ставит Гоголю “пятёрку” с тремя плюсами. Такого же высокого отношения удостоивается гоголевская характеристика человека XIX века. <...> Вдоль этого отрывка, нанизанные одна за другой на карандашную прямую, уходят вниз страницы “пятёрки” Толстого» [Золотусский]. Понятно, почему Толстой перечеркнул начало главы, его оттолкнула тематика церковного празднования Воскресения Христова (нельзя исключать, что начало это не было бы перечеркнуто, если бы писатель знал окончание).

А. Х. Гольденберг в статье о Гоголе и Данте обращается к идее «единого эпического текста мировой литературы», выдвинутой Ф. Т. Гриффитсом и С. Дж. Рабиновичем [Гольденберг 2007a]. Прочитируем высказывание исследователей, побуждающее говорить о преемственности именно эпических художников — не просто работа-

ющих с разными жанрами эпоса, но претендующих в произведениях на *полный жизненный охват, произнесение особого пророческого художественного слова*: «...Вернее будет говорить об эпосе не как о некоем роде текстов, но как о некоем круге текстов, ассоциированных друг с другом, как уже сказано, не столько по сходству, сколько по непрерывности повествовательных связей и демонстративным аллюзиям, объявляющим каждый данный текст продолжением и завершением предыдущего» [Гриффитс, Рабинович: 22]. Однако необходимо учитывать, что демонстративные аллюзии (ниже мы укажем на такие аллюзии в романе «Воскресение», отсылающие читателя к «Мертвым душам» Гоголя) являются лишь внешней, самой выразительной и показательной частью в общей идее преемственности создания эпического повествования о русской жизни.

Нельзя исключать того факта, что задуманная Толстым объемная и содержательная статья о Гоголе, начатая в 1888 г., не была завершена (фактически написано было только начало статьи) именно потому, что Толстой направил творческую энергию не на публицистическое и аналитическое объяснение своего понимания Гоголя и его произведений, прежде всего, «Мёртвых душ» и «Выбранных мест из переписки с друзьями», а на творческое освоение достижений Гоголя. По всей видимости, осмысление Толстым гоголевских текстов не было пояснено им в форме статьи именно потому, что находки Гоголя органично вошли в текст романа «Воскресение», в котором писатель оставил для нас знаменательные образы, связующие его художественный мир с гоголевским.

Для Толстого с ориентацией на эпическое искусство в его масштабных формах была характерна определенная художественная эволюция. До создания «Войны и мира» он читал поэмы Гомера, в конце лета 1857 г. восторгался «Илиадой», прочитанной им в переводе Гнедича, а в общем списке книг, оказавших на него наибольшее влияние с 1848 г. по 1863 г., отметил «Одиссею» и «Илиаду», «читанные по-русски» [Гусев: 487]. Перед написанием «Анны Карениной» Толстой учил греческий для чтения Гомера в оригинале.

Эпическая сущность «Войны и мира» обусловлена самой эпохой и масштабом событий, в которых народ и государство оказываются на грани небытия. Эпический характер «Анны Карениной» понять сложнее — не случайно многие близорукие критики и современники

Толстого увидели в романе не историю заблуждений и прозрений, жизни души, нарушения Божественных законов и неминуемого возмездия, а прежде всего любовный треугольник, историю семьи Карениных, страсть Анны и Вронского. А незадолго перед началом работы над «Воскресением» Толстой читал Гоголя. И на своеобразный эпический характер последнего романа Толстого, его сложность, вне всякого сомнения, повлияли и гоголевские открытия, в первую очередь, идея преображения человека и мира. Мы уже писали о том, что роман «Воскресение» Л. Н. Толстого полностью построен на системе контрастов, что многочисленные антитезы буквально пронизывают художественный мир произведения, дополняя друг друга. Но в романе необходимо увидеть полярные миропонимания, точки зрения, осознать степени контрастов, основу построения антитез. Проповеднический пафос Толстого, обилие второстепенных персонажей романа, огромный круг поднятых писателем политических, экономических проблем делают «Воскресение» романом, чтение которого не приносит удовольствие, а заставляет страдать, работать над собой [Андреева 2016: 272–273].

Разумеется, Толстой был знаком с творчеством Гоголя еще с юности, в списке сочинений, произведших на него особенное впечатление с 14 до 20 лет, он указывает в том числе:

«Гоголя Шинель. Иван Иванович, Иван Никифорович. Невский проспект. — *большое*.

Вий — *огромное*.

Мертвые души — *очень большое*» (письмо к М. М. Ледерле от 25 октября 1891 г.) [Толстой 66: 67].

И. А. Виноградов отмечает парадоксальную нелюбовь Толстого к народной и патриотической повести Гоголя «Тарас Бульба», которую писатель пронес через всю жизнь. Ученый объясняет факт неприятия повести Гоголя испытанным Толстым во второй половине 1840-х гг. влиянием западников: «Очевидный “диктат” западников испытывает другая будущая знаменитость — граф Л. Н. Толстой. Влияние радикальной школы не прошло для него бесследно. Позднее, в 1891 г. Толстой, перечисляя произведения Гоголя, наиболее повлиявшие на него в возрасте от четырнадцати до двадцати лет (с 1842 по 1848 гг.), признавался, что уже тогда ценил “все художественные, кроме Тараса Бульбы”. (Неприязнь к героической повести Гоголя Толстой — автор

“Войны и мира” — сохранил до конца жизни)» [Виноградов 2018а: 91]. Сложно не согласиться с И. А. Виноградовым, справедливо указывающим на факт негативных и противоречивых влияний, оказываемых на молодого Толстого. Но вывод о неприятии Толстым творчества Гоголя нельзя делать только на основании отрицания им значимости повести «Тарас Бульба». Хотя можно с уверенностью сказать, что понимание этой патриотической повести Гоголя и отношение к ней определяют во многом историческую привязанность человека к родной земле, его укорененность в традициях православной культуры, с Толстым (в силу его гениальности и противоречивости) было не всё так просто.

Вероятнее всего, неприятие Толстым повести «Тарас Бульба» оказалось связано с особенными обстоятельствами. Как можно предполагать, военный опыт Толстого, его участие в Крымской войне и кровопролитных боях за Севастополь определяли достаточно резкую его точку зрения на военные действия в целом, в том числе и на описание кровопролитных событий. Толстой прекрасно чувствовал это свое право — офицера, бывшего на поле брани — отвергать иллюзии штабных военных и мирных жителей, лишь понаслышке знающих о войне и спокойно рассуждающих о ней как о профессии. По всей видимости, дело с «Тарасом Бульбой» заключается отнюдь не столько в каких-то влияниях, оказанных на Толстого (факт неизменного отношения писателя с течением времени к повести Гоголя только подтверждает наше мнение). Толстой не мог принять гоголевского прославления войны, воинской службы как патриотического дела. Именно потому пафос «Тараса Бульбы» оказывается не близким крайнему пацифисту Толстому, как абсолютно чужды ему были, к примеру, утверждения Достоевского об облагораживающей души людей силе освободительной войны. Если для молодого Толстого отрицание войны связано в большей степени с памятью о ее ужасах, то в поздний период творчества Толстой в публицистике выходит к проблеме основного нравственного противоречия войны — убийству человека и цене его жизни (хотя и о страшных впечатлениях, полученных на войне, Толстой не забывает — забыть такое, по справедливым замечаниям участников разных войн, невозможно). В «Дневнике писателя» Достоевский в уста парадоксалиста вкладывает мысли о пользе войны, преображающей человечество, теряющее ориентиры

и ценности в периоды длительного мира. Одна из задач Достоевского в «Дневнике писателя» заключалась в объяснении великой миссии России: «Нынешнюю, например, всенародную русскую войну, всего русского народа, с царем во главе, поднятую против извергов за освобождение несчастных народностей, — эту войну поняли ли, наконец, славяне теперь, как вы думаете?» [Достоевский 26: 79]. В этом представленном Достоевским описании народной войны, производимой под началом царя — помазанника Божьего на земле, — то есть благословенной по сути дела войны, есть много гоголевского (если говорить именно о его повести «Тарас Бульба»). Однако Толстой считает, что любое убийство человека не может быть оправдано, что в силах населения земли рубежа XIX–XX вв. сознательно прийти к единению и пониманию, не лишая жизни друг друга. «Всех учат тому, что Гоголь был велик, когда он писал свои повести, как Тарас Бульба, в которой восхваляются военные подвиги — убийство...», — отметил Толстой в незавершенной статье «О Гоголе» [Толстой 26: 649]. Так как в отношении войны Толстой был максимально категоричен, он даже не пытался определить глубинные смыслы и важнейшие, близкие ему самому, темы повести «Тарас Бульба», противопоставив ей в конце 1880-х гг. публицистическое творчество Гоголя.

1 декабря 1864 г. Толстой упоминает о Гоголе в письме к С. А. Толстой: «... читал давно забытую Гоголевскую исповедь» [Толстой 83: 69].

Важнейший этап интереса к наследию Гоголя, приблизивший его к осмыслению истинного значения предшественника, Толстой переживает после 1886 г. В трактате Толстого «О жизни» (1886–1887) есть значимое упоминание о Гоголе, позволяющее глубже понять не раз производимые соотнесения писателем Гоголя и Паскаля: «Еще понятны смерти Паскаля, Гоголя; но — Шенье, Лермонтов и тысяча других людей с только что, как нам кажется, начавшейся внутренней работой, которая так хорошо, нам кажется, могла быть доделана здесь?» [Толстой 26: 421]. Далее Толстой переходит к рассуждению об иллюзорности оценки внешнего пути человека, он пишет, что человек не может знать внутренней, духовной жизни другой личности. Собственно к выводу о понятности смертей Паскаля и Гоголя могли прийти очень немногие. «Нам кажется, глядя на работу кузнеца, что подкова совсем готова — стоит только раза два ударить, — а он сламывает ее и бросает в огонь, зная, что она не проварена», — отмечает Толстой [Толстой 26: 421].

«Человек умирает только от того, что в этом мире благо его истинной жизни не может уже увеличиться...» [Толстой 26: 421].

Проводимая Толстым параллель значима: и Паскаль, и Гоголь были людьми, обладавшими для своего времени очень широкими познаниями о мире, оба прожили тяжелую жизнь, подтачиваемую болезнями, оба заключали такой потенциал, который был по достоинству оценен не их современниками, а гораздо позднее, наконец, оба этих творческих человека были глубоко верующими. Сравнение с Паскалем рождается в голове Толстого, вероятно, еще и потому, что прочитанные писателем «Выбранные места из переписки с друзьями» связывались в его воображении с фундаментальным трудом «Апология христианской религии», задуманным Паскалем к финалу жизни и не завершенным им в связи с тяжелой болезнью.

В письме к П. И. Бирюкову от 5 октября 1887 г. Толстой отмечает: «Очень меня заняла последнее время еще Гоголя переписка с друзьями. Какая удивительная вещь! За 40 лет сказано, и прекрасно сказано, то, чем должна быть литература. Пошлые люди не поняли, и 40 лет лежит под спудом наш Паскаль. Я думал даже напечатать в Посреднике «Выбранные места из переписки» [Толстой 64: 98–99].

Не раз уже цитировалось литературоведами письмо Толстого к Н. Н. Страхову от 16 октября 1887 г., в котором он подчеркнул высоту Гоголя и его учительский пафос, а также жалкую роль Белинского: «Ведь я опять относительно значения истинного искусства открываю Америку, открытую Гоголем 35 лет тому назад. Значение писателя вообще определено там (письмо его к Языкову, 29) так, что лучше сказать нельзя. Да и вся переписка (если исключить небольшое частное) полна самых существенных, глубоких мыслей. Великий мастер своего дела увидел возможность лучшего деланья, увидел недостатки своих работ, указал их и доказал искренность своего убеждения и показал хоть не образцы, но программу того, что можно и должно делать, и толпа, не понимавшая никогда смысла делаемых предметов и достоинства их, найдя бойкого представителя своей низменной точки зрения, заготовила, и 35 лет лежит под спудом в высшей степени трогательное и значительное житие и поученья подвижника нашего цеха, нашего русского Паскаля» [Толстой 64: 107]. Обратим внимание, что Толстой ставит Гоголя в ряд известных мировых ученых. Лексема «житие» подчеркивает понимание Толстым своего рода монашеского пути Гоголя,

его огромной роли в возрождении религиозного искусства, а называя его «русским Паскалем», Толстой подразумевает уникальность гоголевских открытий для всего человечества. Примечательно в данном случае и указание на тот факт, что *Толстой идет за Гоголем* — мы видим признание Толстым огромного духовно-нравственного авторитета Гоголя. Как отмечает С. Г. Бочаров, это письмо Н. Н. Страхову «пишется в самый разгар новой деятельности Толстого», «и в этот момент он оглядывается на Гоголя, признавая в нем своего предтечу» [Бочаров 2011: 15].

Сочинения Гоголя так увлекли Толстого, что он задумывает статью о гениальном предшественнике, которую начинает писать в январе и феврале 1888 г. в Москве, но не завершает. Тем не менее, имеющийся в нашем распоряжении текст этой незаконченной работы позволяет сделать вывод о том, что в отличие от многих своих современников, Толстой смог в полной мере оценить глобальный религиозный смысл произведений Гоголя. Рассуждения в статье Толстой начинает с упоминания борьбы между требованиями души и формальными условиями общества, о которой он не раз уже писал, изображая многих своих героев, о которой будет подробно рассказывать в «Воскресении».

Жизнь и судьбу Гоголя Толстой воспринимает в христианских категориях, подчеркивая важность прозрения и преображения человека на любом отрезке пути (чем раньше наступит прозрение, тем лучше): «Так это бывает со всеми людьми без исключения, в этом вся жизнь человеческая. Различие между людьми только в том, что один очунается в молодости, другой в зрелых годах, третий в старости, четвертый на одре смерти» [Толстой 26: 648–649]. Момент прозрения особенно занимал Толстого, в 1886 г. он завершил работу над повестью «Смерть Ивана Ильича», сопоставление черновых материалов которой с итоговым текстом показывает, что Толстой продумывал длительность временного промежутка, который оставалось прожить Ивану Ильичу после прозрения (хотя весь смысл повести заключается в том, что прозрение это слишком позднее, в черновиках Толстой оставлял своему герою два или три месяца после наступившего прозрения). Но те два месяца, которые в черновиках Толстой оставлял Ивану Ильичу, открывшему правду, в итоговом тексте тратятся героем на наблюдения за ощущениями собственного тела и на страх смерти.

В статье «О Гоголе» главным героем оказывается сам писатель, для представления пути и сложных жизненных этапов которого Толстой использует универсальную сюжетную схему, использованную в «Мертвых душах» Гоголем и чрезвычайно дорогую для самого Толстого, реализуемую им в большинстве своих произведений на примере многих автобиографических героев и не только их: грех (соблазн) — раскаяние (покаяние) — воскресение. «Но в жизни всякого человека и сильного и слабого, и большого и малого, неминуемо есть детская чистота, соблазн и покаяние», — пишет Толстой [Толстой 26: 649]. Далее писатель обращается к причинам непонимания Гоголя и неспособности, неготовности большинства читателей его понять. «Таково всегдашнее свойство движения человека к истине. Приближаясь к Богу, человек сердцем приближается и к людям, но умом, взглядом отдалается от них, возбуждает в них негодование, презрение, озлобление», — отмечает писатель [Толстой 26: 650]. И это озлобление окружающих, как точно пишет Толстой, показывает истинность приближения человека к Богу, становится для него *испытанием*. Толстой подчеркивает, что в ситуации с Гоголем всё было *очень в высокой степени*: и ожесточение современников, не могущих понять художника, и испытание самому писателю и человеку: «Так это было для Гоголя: для него соединились обе причины — и тот шаг, который он сделал вперед был велик, и главное — те люди, среди которых он жил, его прежние сотоварищи, стояли и еще долго после его смерти, да и теперь стоят на том низком нравственном уровне, с которого сорок лет тому назад поднялся Гоголь» [Толстой 26: 650].

Обрывается статья Толстого на знаковом и ключевом для всей литературы XIX в. противопоставлении Гоголя и Белинского: первый ассоциируется для Толстого с рано прозревшим человеком, осознавшим истинную ценность жизни для души, по Божьим заповедям, поднявшимся высоко и оставившим внизу второго. Толстой использует в статье интересный прием: кажется, что он не осуждает Белинского, но внимательное чтение финала отрывка показывает *разоблачение критика* не с помощью прямого осуждения и отрицания его взглядов, но через крик из толпы: «Как на низком нравственном уровне? Белинский на низком нравственном уровне?», — слышу я крик толпы [Толстой 26: 651], а также изложение позиции Белинского по отношению к Гоголю: «Белинский первый осудил Переписку и сказал: Проповедник кну-

та, апостол невежества и мракобесия, панегирист татарских нравов и т. п. Белинский сказал: “По-вашему русский народ самый религиозный в мире — ложь. В Русском народе много суеверий, но нет и следа религиозности”» [Толстой 26: 652]. Комментируя статью Толстого, А. И. Никифоров отмечает, что «статья о Гоголе писалась в Москве 24 января и около 8–9 февраля 1888 г. С этими датами согласуется и дата на рукописи “1888 январь”, сделанная рукой С. А. Толстой. Идея же статьи вызвана еще в октябре 1887 г. чтением “Переписки с друзьями” Гоголя. Причины, почему статья оказалась неоконченной, сообщает в своих воспоминаниях Н. Тимковский, рассказывая о Толстом: “Когда брошюра Посредника «Гоголь как учитель жизни» возбудила среди интеллигенции жаркие дебаты, он горячо принял под свою защиту Гоголя, разыскал и передал мне свою статью о “Переписке Гоголя”, не законченную потому, что Льву Николаевичу, по его собственным словам, не хотелось вступать в полемику с Белинским”» [Никифоров: 875–876].

Литературоведы советского времени, разумеется, не могли не оправдывать Белинского — получалось, что Толстой не вступал в спор с Белинским из-за авторитета последнего. На самом деле, это, конечно, не так: не исключено, что толстовская полемика с Белинским получилась бы настолько основательной, что сам писатель отложил ее до времени, воплотив позднее отчасти в художественном творчестве, в частности, в романе «Воскресение». Именно поэтому вряд ли можно согласиться с Л. Д. Опульской в том, что «мысли Белинского о нерелигиозности русского народа (в церковном смысле) были чрезвычайно близки к тому, что писал в эти годы и сам Толстой». «Охладило пыл полемики с Белинским, чрезвычайно резкой в письмах 1887 г. к друзьям, чтение как раз в феврале 1888 г. сочинений Герцена», — отмечает Л. Д. Опульская [Опульская 1979: 114]. Как можно судить по записям Толстого, с этого времени и до конца жизни отношение его к Белинскому однозначно отрицательное. В доказательство можно привести почти повторяющиеся друг друга заметки Толстого в записной книжке от 6 марта 1896 г. [Толстой 53: 274] и дневнике от 17 мая 1896 г.: «Если бы все Грановские, Белинские и прочие имели что сказать, они сказали бы, несмотря ни на какие препятствия. Доказательство Герцен. Он уехал за границу. И несмотря на свой огромный талант, что ж он сказал нового, нужного? Все эти Грановские, Белинские, Чернышевские, Добролюбовы, произве-

денные в великие люди, должны благодарить правительство и цензуру, без которых они были бы самыми незаметными фельетонистами» [Толстой 53: 90]. «Может быть в них, в Белинском, Грановском и других неизвестных, и было что-нибудь настоящее, но они всё в себе задушили тем, что воображали, что им надо служить обществу в формах общественной жизни, а не служить Богу исповеданием истины и проповеданием ее без всякой заботы об формах общественной жизни» [Толстой 53: 91].

Конечно, огромный интерес Толстого к «Выбранным местам из переписки с друзьями» в конце 1880-х гг. заставил его переосмыслить в том числе и «Мертвые души», тем более «несколько слов» о «Мертвых душах» Гоголь сказал и в книге статей-писем, *поясняя свое творение* (для Толстого, по его собственным словам, шедшего в то время за *Гоголем*, «нашим Паскалем», такое указание самого автора, его пояснения были чрезвычайно важны).

Обозначим еще несколько более поздних замечаний Толстого о Гоголе, сделанных писателем фактически спустя 20 лет, в 1909 г., и вызванных вновь обращением к книге писем Гоголя. Основной пафос этих записей — неприятие Толстым веры Гоголя в силу Церкви и безусловного доверия властям. 5 марта 1909 г. Толстой отмечает: «Главное несчастье всей его деятельности это его покорность установившемуся лжерелигиозному учению и Церкви, и государства, какое есть. Хорошо бы, если бы он просто признавал всё существующее, а то он это оправдывал, и не сам, а с помощью софистов славянофилов и сам был софистом и очень плохим софистом своих детских верований. Ухудшало, запутывало еще больше склад его мыслей его желание придать своей художественной деятельности религиозное значение. Письмо о “Ревизоре”, вторая часть “Мертвых душ” и др.» [Толстой 57: 34].

Обратим внимание, что Толстой говорит в данном случае не о религиозном чувстве православного человека, не принимает он полной пассивности Гоголя в вопросах общественно-политических (тут необходимо учитывать и саму эпоху, в которую жили писатели — Толстой не мог не видеть кризиса русской государственности начала XX в.). Интересно, что Толстой в дневнике от 7 марта 1909 г. возвращается к теме противостояния Гоголя и Белинского: «Много думал о Гоголе и Белинском. Очень интересное сопоставление. Как Гоголь

прав в своем безобразии, и как Белинский кругом неправ в своем блеске, с своим презрительным упоминанием о каком-то Боге. Гоголь ищет Бога в церковной вере, там, где он извращен, но ищет все-таки Бога, Белинский же, благодаря вере в науку, столь же, если не более нелепую, чем церковная вера..., и несомненно еще более вредную, не нуждается ни в каком Боге! Какая тема для нужной статьи» [Толстой 57: 35–36].

Несмотря на тот факт, что поздний Толстой, в связи со своим резким отношением к Церкви, обвиняет Гоголя в догматизме, данная запись показывает: высказанное толстовское отношение было, по всей видимости, последовательной необходимостью, позволявшей избежать противоречий в собственном учении, в «гравитационном поле» которого оказался Толстой. Между тем, резкое обвинение Белинского доказывает, что позиция Гоголя была Толстому близка, можно сказать, «по-прежнему близка», если оценивать его отметки на полях «Выбранных мест из переписки с друзьями».

Итак, как мы уже отметили, дорогая для самого Толстого тема духовного переворота в человеке получает характерный и для «Мертвых душ» Гоголя эпический масштаб (повествование обо всей России и о русской жизни) во время работы писателя над романом «Воскресение».

Несмотря на то, что роман Толстого состоит из трех частей, отдельные части его нельзя соотносить с задуманными тремя томами «Мертвых душ» Гоголя: *весь роман* «Воскресение», по задумке Толстого, сочетает и обличение пороков статичных персонажей, и признание поднимающимися, воскресающими героями своей вины, сопряженное с этим преобразование. Книга начинается с описания весеннего пейзажа (примечательно, что это «вступление» было найдено Толстым не сразу), и в первый же день в художественном мире романа происходит встреча героев в суде, которая становится началом грядущего переворота в Нехлюдове, увлекающим за собою вверх и Катюшу. И хотя Нехлюдов после узнавания Катюши не готов еще к признанию вины, Толстой показывает читателю неотвратимость грядущего преобразования героя, происходящего в силу особенной природы Нехлюдова: «Но вот теперь эта удивительная случайность напомнила ему все и требовала от него признания своей бессердечности, жестокости, подлости, давших ему возможность спокойно жить эти десять лет с таким грехом на совести.

Но он еще далек был от такого признания и теперь думал только о том, как бы сейчас не узналось все и она или ее защитник не рассказали всего и не осрамили бы его перед всеми» [Толстой 32: 65].

Важно понимать, что и для героев Гоголя, и для героев Толстого определяющим, выталкивающим на путь преобразования должно было быть какое-то одно событие, при этом и Чичиков (возможное преобразование которого находилось в планах автора), и Нехлюдов (при всей разности этих персонажей и отношения к ним авторов) должны были пройти определенный путь внутренней работы, сомнений, борьбы с собой. Однако о преобразении героев Гоголя, особенно Чичикова, можно говорить с большой долей условности — учитывая лишь предположения исследователей, основывающиеся на изучении планов писателя.

Рассуждения о периодах нравственного подъема и спада присутствуют в одном из финалов истории Нехлюдова и Катюши, представленных в черновиках. В итоговом тексте романа писатель приблизительно равное внимание уделяет возрождению Нехлюдова и Масловой, которые друг друга еще и мотивируют на этом пути, открывает сложность их движения, но в отдельных черновых вариантах финала романа Толстой описывал воскресение героев достаточно кратко. Так, Катюша Маслова выходила замуж за политического каторжного Аносова (впоследствии он заменен на Вильгельмсона, потом — на Симонсона), который после юношеского увлечения революционными идеями совершенно освобождался от прошлых убеждений и становился другим человеком (еще одна история воскресения): «Теперь, после каторги и ссылки, он совершенно освободился от напущенного на себя революционерства и не мог даже подумать, зачем оно ему. Он был полон жизни, энергии и добродушной веселости» [Толстой 33: 159]. В рассматриваемом нами черновом финале романа ни о какой любви Катюши к Аносову речи не шло, героиня только жалела Аносова, но выходила за него замуж (тем самым освобождая Нехлюдова). А Нехлюдов после женитьбы Катюши терял стимул нравственного роста, и опять «жизнь затягивала его своей паутиной и своим сором» [Толстой 33: 160]. Толстой представлял путь героя не как быстрое прозрение и изменение, а как сложный путь, *чередой восхождений и падений, но при этом показывал, что на прежний уровень герой уже не опустится*: «Но как всегда было, несмотря на как будто

обратное движение, на ослабление нравственного сознания, всякий такой подъем поднимал его и оставлял навсегда выше, чем он был прежде» [Толстой 33: 160].

Некоторые исследователи убеждены в том, что Нехлюдов в финале романа «Воскресение» ведет себя непоследовательно, возвращается к роскошному существованию, от которого отказался, вроде бы окончательно порвав со всеми знакомыми из высшего света. Ю. В. Лебедев отмечает, что известие о помиловании Катюши не приносит Нехлюдову радости и счастья, а на обеде у генерала он отдается прежним светским приятным и легким отношениям, удовольствию красивой обстановки и обеда. На основании этого ученый делает вывод, что «Нехлюдов, почувствовав в себе Бога и осознав себя с богом, с большим трудом “самосовершенствуется”, но так и не достигает желанного “воскресения”» [Лебедев: 49–50]. Однако, по нашему мнению, тяжелое чувство героя связано исключительно с его огромной усталостью, о которой пишет Толстой, а более всего — с необходимостью категоричного решения вопроса о дальнейшей судьбе Масловой, а комфортная обстановка в данном случае описана Толстым не с целью обличения роскоши высшего света, а с целью иллюстрации значительной разницы между ужасной жизнью заключенных, которую видел Нехлюдов, и человеческой жизнью, подразумевающей определенный уют.

Справедливость последнего нашего утверждения о том, что сцена жизни сибирского генерала и его семьи создается писателем не для обозначения жалости разрыва Нехлюдова с высшим светом и готовности его вернуться к прежней роскоши, а для выявления контраста, подтверждается черновыми материалами, где Толстой прямо обозначает антитезу: «Губернаторша же дала ему виноград и грушу, чтобы он знал, что у них в Сибири живут как люди. Под влиянием этого впечатления изящества и избытка, главное — света Нехлюдов приехал в острог. Смотритель тотчас же повел его наверх. Как только отворили дверь, так Нехлюдова охватил удушающий запах человеческих испражнений, полутьма, — горела одна коптящая лампа, — и слышались пение и крик, ругательства» [Толстой 33: 158]. В одной из сцен к роману в черновиках Нехлюдов отмечал сходство аристократической гостиной и всего уклада в семье дворян из Сибири с обстановкой столичных домов. Однако писатель констатирует это единообразие роскоши с тяже-

лым чувством, что говорит, прежде всего, о росте героя, а не его возвращении назад и сомнениях: «Нехлюдову становилось все тяжелее и тяжелее. Здесь, на конце света, было то же самое, что в Петербурге» [Толстой 33: 310–311].

Находясь в гостях у сибирского генерала, Нехлюдов инстинктивно тянется не к роскоши, а к семейному уюту, любви и тому благородному служению, которое он увидел впервые в этих людях. (Как отмечают исследователи творчества Гоголя, вероятнее всего, по задумке писателя в «Мертвых душах» путь Андрея Ивановича Тентетникова и Улиньки должен быть привести их в Сибирь). В «Воскресении» в образе дочери сибирского генерала и ее мужа Толстой пунктиром намечает линию развития желаемой им русской семьи: дочь генерала гордится своими малышами, причем ее маленькую дочь зовут Катей (как тут не вспомнить Катюшу Маслову, лишённую настоящей семьи), а ее муж занимается в романе по сути дела спасением России: «Муж ее <...>, скромный и умный, служил и занимался статистикой, в особенности инородцами, которых он изучал, любил и старался *спасти от вымирания*» (курсив мой. — В. А.) [Толстой 32: 428].

«Мертвые души» и «Воскресение», прежде всего, связаны идеей греха, духовного омертвения (и физической смерти) и грядущего воскресения. Собственно определяющая идея в «Мертвых душах» и «Воскресении» фактически одна, она заключается в убеждении писателей, «что каждый человек, созданный по образу и подобию Божию, несет на себе отпечаток этой божественности — более или менее зримый “первообраз”, который он искажил в себе, отступая от Отеческого замысла о нем Творца» [Виноградов 2018b: 119]. На протяжении всего романа «Воскресение» Нехлюдов постепенно приближается к разгадке воли Хозяина. Начинается это движение с нежелания пассивного героя, в котором еще очень сильно движение по инерции, признавать волю Бога: «Так и Нехлюдов чувствовал уже всю гадость того, что он наделал, чувствовал и могущественную руку хозяина, но он все еще не понимал значения того, что он сделал, не признавал самого хозяина. Ему все хотелось не верить в то, что то, что было перед ним, было его дело. Но неумолимая невидимая рука держала его, и он предчувствовал уже, что он не отвертится. Он еще храбрился и по усвоенной привычке, положив ногу на ногу и небрежно играя своим *pinse-nez*, в самоуверенной позе сидел на своем втором стуле первого ряда. А

между тем в глубине своей души он уже чувствовал всю жестокость, подлость, низость не только этого своего поступка, но всей своей праздной, развратной, жестокой и самодовольной жизни...» [Толстой 32: 77–78].

Тема духовной мертвенности людей и множества смертей реальных в художественных мирах Гоголя и Толстого во многом схожи.

Прежде всего, скажем о смертях реальных. Во-первых, нужно упомянуть о смерти прокурора и погребальной процессии, с которой сталкивается бричка Чичикова в «Мертвых душах», об умерших в пути арестантах, политическом заключенном Крыльцове, свидетелем смерти которых становится Нехлюдов. Как справедливо отмечает В. А. Воропаев, «встреча со смертью, по мысли Гоголя, должна напомнить человеку о его бренности, заставить строже взглянуть на самого себя, подумать о своей собственной душе» [Воропаев: 115]. Подобный эффект указанные смерти производят и на Нехлюдова, а смерть Кольцова подталкивает его к духовному перевороту в финале романа, к которому он был уже фактически готов: «“Зачем он страдал? Зачем он жил? Понял ли он это теперь?” — думал Нехлюдов, и ему казалось, что ответа этого нет, что ничего нет, кроме смерти, и ему сделалось дурно» [Толстой 32: 439].

Чрезвычайно важно увидеть, что речь и у Гоголя, и у Толстого идет о народных смертях, хотя масштаб их изображения отличается: у Гоголя это народные смерти, а у Толстого — процесс вымирания народа. Изображение указанной проблемы несколько приглушено в обеих книгах за счет движения героев, разнообразия сцен и проблем, перемещению взглядов писателей, но именно вопрос народных судеб и смертей во многом придает и «Мёртвым душам», и «Воскресению» эпический масштаб. В художественном мире книги Гоголя и Коробочка, и Собакевич очень сожалеют об умерших крестьянах, вспоминая их заслуги, достижения, труды. «И умер такой все славный народ, все работники», — говорит Чичикову Коробочка [Гоголь 6: 51]. Перечисление Собакевичем достоинств умерших крестьян составляет несколько абзацев, так что торгующийся Чичиков в итоге парирует: «...зачем вы исчисляете все их качества, ведь в них толку теперь нет никакого, ведь это всё народ мертвый» [Гоголь 6: 103]. Кроме того, обратим внимание, что и Коробочка, и Собакевич достаточно уничижительно по сравнению с умершими крестьянами

отзываются о живых: «После того, правда, народилось, да что в них: всё такая мелюзга...» [Гоголь 6: 51]; «Впрочем, и то сказать: что из этих людей, которые числятся теперь живущими? Что это за люди? Мухи, а не люди» [Гоголь 6: 103]. При этом Собакевич рассказывает Чичикову о Плюшкине, который «всех людей переморил голодом». «И вы говорите, что у него, точно, люди умирают в большом количестве?» — спрашивает Чичиков. «Как мухи мрут», — отвечает Собакевич [Гоголь 6: 99]. Очень примечательно, что ругающий Плюшкина Собакевич прямо говорит о нечеловеческом отношении Плюшкина к крестьянам. «“Мошенник, — отвечал Собакевич. — Такой скряга, какого вообразить трудно. В тюрьме колодники лучше живут, чем он: всех людей переморил голодом”» [Гоголь 6: 99]. Позднее, ругая Плюшкина и называя при этом его Собакой, Собакевич, вне всякого сомнения, обобщает это отношение и распространяет его на всех помещиков, и на себя, конечно: «“Собака, — сказал Собакевич, — мошенник, всех людей переморил голодом» [Гоголь 6: 145].

На фоне общей сатирической манеры повествования эти реплики не сразу открывают народную беду — тяжелые условия выживания русского народа. Не случайно Плюшкин у Гоголя в первом томе появляется в *финале* череды помещиков: писатель очень хорошо изображает главный парадокс и перекося жизни — в то время как мужики мрут, как мухи (по всей видимости, прежде всего, от недоедания), у Плюшкина во многих местах рядами стоят огромные клады хлеба, уже начинающие портиться: «...цветом походили они на старый, плохо выжженный кирпич, на верхушке их росла всякая дрянь, и даже прицепился сбоку кустарник» [Гоголь 6: 112].

И Чичиков у Гоголя, и Нехлюдов у Толстого становятся свидетелями огромных трат высшего света и нищенской жизни народа. Не столько изображение народа, сколько передаваемый писателями *взгляд народа на действительность* сквозь призму проблем становится основой эпических художественных миров. Как мы уже отмечали, «несмотря на то, что роман “Воскресение” написан на материале современной автору действительности, в этом произведении нет внешней угрозы, перед которой оказалась бы Россия (как во время Крымской войны в Севастопольских рассказах и тем более во время русско-французской войны в «Войне и мире»», Толстой подводит читателя к проблеме

нарастания в России страшного кризиса, к проблеме сохранения национальной целостности и выживания народа [Андреева 2020: 239]. Обобщая свои наблюдения, Нехлюдов делает вывод о вымирании народа: «Народ вымирает, привык к своему вымиранию, среди него образовались приемы жизни, свойственные вымиранию, — умирание детей, сверхсильная работа женщин, недостаток пищи для всех, особенно для стариков. И так понемногу приходил народ в это положение, что он сам не видит всего ужаса его и не жалуется на него. А потому и мы считаем, что положение это естественно и таким и должно быть» [Толстой 32: 217].

В. А. Воропаев вслед за П. А. Кулишом и М. М. Бахтиным пишет о глубинной связи Гоголя с народной стихией, отмечает, что она стала одним из основных источников оригинальности творений писателя. В идее органической связи поэтики Гоголя с традициями народной культуры видит Воропаев «разгадку своеобразия творческой манеры Гоголя и, в частности, особенностей поэтики “Мертвых душ”» [Воропаев: 114].

Условно можно сказать, что в «Воскресении» Толстым творчески освоено и использовано гоголевское описание омертвения. У Гоголя душевно мертвый Чичиков переезжает от помещика к помещику, степень духовного омертвения которых возрастает от Манилова к Плюшкину, и скупает мертвые души на фоне продолжающегося вымирания народа. В романе Толстого ситуация схожа: встречаются душевно омертвевшие Нехлюдов и Катюша, первый начинает ездить от чиновника к чиновнику, пытаясь найти правду у этих духовно мертвых людей, Катюша в это время с трудом встает на путь восхождения, так как постоянно удерживается внизу мертвой средой острога, а в это время и в деревнях, и в городах от голода, эпидемий, невыносимой жизни умирает русский народ, поставленный в условия выживания.

По сути дела, галерея «мертвых» чиновников, судей, прокуров, адвокатов, представителей высшего света, подобных семейству Корчагиных, с которыми общается Нехлюдов в разъездах по обвинению Масловой и прочим делам, касающимся освобождения фактически безвинно арестованных людей, напоминает читателю галерею помещиков в «Мертвых душах». Мотив мертвенности характерен для всего того мира, с которым порывает Нехлюдов, возрождающийся в

романе и с радостью отмечающий перемены в себе и Катюше. Если при первых свиданиях с Масловой в тюрьме Нехлюдов думал: «Ведь это *мертвая* женщина» (курсив мой. — В. А.) [Толстой 32: 149], то к концу второй части романа, накануне отправления партии арестантов, герой записал в дневнике: «Она радует меня той внутренней переменой, которая, мне кажется, — боюсь верить, — происходит в ней. Боюсь верить, но мне кажется, что она *оживает*» (курсив мой. — В. А.) [Толстой 32: 326].

У Толстого преобразование Нехлюдова и Катюши напрямую связано с расширением их жизни и готовности помогать ближним. И это тоже во многом именно гоголевская мысль о том, что воскресение немислимо без народного единения. Сосредоточенные в начале произведения исключительно на себе и своих проблемах, Нехлюдов и Катюша выходят в финале к большому миру. И в арестантах, уголовных и политических, и в чиновниках на местах, с которыми никогда не сталкивался ранее Нехлюдов, и в тюремных служащих, а самое главное — в простых людях из народа герой открывает для себя совершенно другой мир: «“Да, совсем новый, другой, новый мир,” — думал Нехлюдов, глядя на эти сухие, мускулистые члены, грубые домодельные одежды и загорелые, ласковые и измученные лица и чувствуя себя со всех сторон окруженным совсем новыми людьми с их серьезными интересами, радостями и страданиями настоящей трудовой и человеческой жизни» [Толстой 32: 361]. Катюша в разговоре с политическими произносит знаковую фразу, открывающую не только ее принадлежность к народу, но и способность героини жить жизнью других: «“Я думаю, обижен простой народ”, — сказала она, вся вспыхнув» [Толстой 32: 399].

В. А. Туниманов отмечает, что «в очень сжатом, концентрированном виде вошло в роман увиденное Толстым во время переписи в Москве (и прогулок по Вавилону) и в голодных деревнях» [Зверев, Туниманов: 560]. Между тем, необходимо понимать, что объемом текста, посвященного изображению народа, сама народная тема у Гоголя и Толстого не определяется.

Формы человеческого отступления персонажей — помещиков и чиновников — от Бога у Гоголя и Толстого схожи: оба писателя, прежде всего, обличают различные виды пошлости. Гоголь указал сам на этот факт в статье «Четыре письма к разным лицам по поводу

“Мертвых душ”»: «Герои мои вовсе не злодеи; прибавь я только одну добрую черту любому из них, читатель помирился бы с ними всеми. Но пошлость всего вместе испугала читателей. Испугало их то, что один за другим следуют у меня герои один пошлее другого, что нет ни одного утешительного явления, что негде даже и приотдохнуть или перевести дух бедному читателю и что по прочтенье всей книги кажется, как бы точно вышел из какого-то душного погребца на Божий свет» [Гоголь 8: 293].

То же самое ощущение беспросветности и тяжести впечатления создают и описания в романе «Воскресение», причем особую тяжесть придают художественному миру не столько натуралистические подробности представления острога, камер, сколько часто безрезультатные походы Дмитрия Нехлюдова, ищущего правды и, как отметил адвокат, сделавшегося «воронкой, горлышком, через которое выливаются все жалобы острога» [Толстой 32: 237]. Кроме того, толстовские обвинения гораздо резче и прямее гоголевских, как тяжелее, собственно и пороки, изображаемые Толстым в тех чиновниках, на приеме у которых оказывается Нехлюдов. Ю. В. Манн справедливо отметил, что «у Гоголя, в соответствии с общей тональностью первого тома поэмы, такие пороки и преступления, как убийство, предательство, вероотступничество, вообще исключены (“Герои мои вовсе не злодеи”). Но этический принцип расположения характеров в известных пределах сохранен» [Манн: 321]. В художественном мире романа «Воскресение» описываемые пороки чиновников выглядят серьезнее. Вот, к примеру, прозревающий Нехлюдов смотрит «новым» взглядом на отца своей предполагаемой невесты, Мисси Корчагиной: «Нехлюдов невольно вспомнил то, что знал о жестокости этого человека, который, бог знает для чего, — так как он был богат и знатен и ему не нужно было выслуживаться, — сек и даже вешал людей, когда был начальником края» [Толстой 32: 90].

Несмотря на разительное отличие героев, Чичиков у Гоголя и Нехлюдов у Толстого в процессе своих путешествий передают одну и ту же очень важную мысль авторов: идею о силе воздействия окружения на человека, об изменениях в структуре личности под влиянием общения с другими людьми, наблюдений за их жизнью. В последнем романе Толстого эта идея влияния на человека сопрягается с изображением духовных стадий героев, их просветления и воскресения.

Писатель на множестве примеров показывает, что ни одна, даже самая мимолетная, встреча не проходит для *думающего и чувствующего человека* бесследно. Более того, именно в процессе сопоставления художественных миров Гоголя и Толстого (Гоголь просто не успел показать изменений Чичикова после предполагаемого духовного переворота) очень хорошо видно, что человек, не живущий духовной жизнью, не в состоянии даже приблизиться к осмыслению глобальной связи всех людей, глубокой закономерности встреч, происходящих на жизненном пути человека, каждый раз ставящих его перед выбором.

Гоголь прекрасно передал, что путешествующий Чичиков достаточно спокойно и выдержанно принимает все причуды и крайности встречаемых им людей, в частности, помещиков, у которых он намеревается приобрести или приобретает мертвые души. Единственный раз в первом томе «Мертвых душ» герой оказывается поколеблен в своем спокойствии и неприступности — это происходит в ситуации угрозы непосредственной физической расправы, которую он встречает у Ноздрева. По поручению последнего, сравниваемого автором с отчаянным поручиком, верные крепостные Порфирий и «Павлушка, парень дюжий, с которым иметь дело было совсем невыгодно» [Гоголь 6: 86] собираются прочить Чичикова: «Но если Ноздрев выразил собою подступившего под крепость отчаянного, потерявшегося поручика, то крепость, на которую он шел, никак не была похожа на неприступную. Напротив, крепость чувствовала такой страх, что душа ее спряталась в самые пятки. Уже стул, которым он вздумал было защищаться, был вырван крепостными людьми из рук его, уже, зажмурив глаза, ни жив ни мертв, он готовился отведать черкесского чубука своего хозяина, и бог знает чего бы ни случилось с ним; но судьбам угодно было спасти бока, плеча и все благовоспитанные части нашего героя» [Гоголь 6: 87]. Из каждой встречи Чичиков предполагает вынести для себя наибольшую выгоду, связанную с главным его делом — приобретением мертвых душ и сколачиванием собственного состояния. Более того, история жизни героя, рассказанная повествователем в финале первого тома, наглядно иллюстрирует, что все жизненные кризисы Чичикова не становились для него уроком и не заставляли героя задуматься, стоит ли так упорствовать на выбранном пути, правильный ли это путь. Описывая перипетии и происшествия, произо-

шедшие с Чичиковым, его неудачи, Гоголь немалое внимание уделяет и рассуждениям героя, оправдывающего себя и никак не желающего понять истинных причин собственных периодических падений после набранной им жизненной «высоты»: «Он рассуждал, и в рассуждении его видна была некоторая сторона справедливости: “Почему ж я? зачем на меня обрушилась беда? Кто ж зевает теперь на должности? — все приобретают. Несчастливым я не сделал никого: я не ограбил вдову, я не пустил никого по миру, пользовался я от избытков, брал там, где всякий брал бы; не воспользуйся я, другие воспользовались бы. За что же другие благоденствуют, и почему должен я пропасть червем?”» [Гоголь 6: 238].

Как мы уже сказали, путь Нехлюдова может быть сопоставлен с дорогой Чичикова (но во многом по принципу контраста): прозревающий в зале суда и постепенно осознающий все свои ошибки и несправедливости в отношении других людей, Нехлюдов хочет достаточно резко и кардинально изменить свое существование, однако встречается с массой внешних сложностей. И дело тут не столько в барских привычках Нехлюдова, от которых он постепенно отказывается. Несмотря на тот факт, что уже на следующий день после прозрения «проезжая по тем же улицам, на том же извозчике, Нехлюдов удивлялся сам на себя, до какой степени он нынче чувствовал себя совсем другим человеком» [Толстой 32: 119], герой Толстого оказывается в таких условиях, что не может быстро и решительно отказаться от общения с прежним кругом, с высшим светом. Прежде всего потому, что он вынужден искать справедливости по делу Масловой и параллельно еще по множеству других дел. Правда и справедливость так основательно оттеснены эгоизмом, приспособленчеством, корыстью чиновников и служащих, предпочитающих внешне красивую и благообразную жизнь и тщательно выстраивающих ее с использованием всех своих возможностей, что Нехлюдов вынужден не отказываться от тяготящей его власти и собственного влияния в свете, прежних связей именно для разрешения беспокоящих его дел.

Исследователи творчества Гоголя уже не раз писали о порочном сходстве помещиков в первом томе «Мертвых душ» и Чичикова, который не только позволяет увидеть скрытые стороны встречающихся героев, но и сам во время общения проявляет не лучшие черты характера, до этого времени в нем не так явно заметные. «Сам Чичиков, осо-

бенно в ранних главах, служит в основном зеркалом происходящего вокруг него, своего рода лакмусовой бумажкой для встречных, которые, в свою очередь, кристаллизуют различные стороны его собственной натуры» [Гриффитс, Рабинович: 140].

Нехлюдов же, перемещающийся от чиновника к чиновнику в поисках помощи по разрешению множества судебных дел, видит прежде не замечаемые им, а теперь ужасающие его подробности, открывающие истинную сущность этих людей. Особенно негативное и тяжелое отношение к окружающему Нехлюдов испытывает в Петербурге: в данном случае художественные решения Толстого во многом также созвучны гоголевским. Петербург предстает в «Воскресении» как удивительно чистый и прекрасный город (как и положено столице): Н. Г. Михновец показала, что «в романе Толстой не стремился нарисовать объективную и объемную картину города — он создавал исключительно “лакированный” образ имперской столицы» [Михновец: 136]. Но при внешнем блеске и лоске этот комфортный и благоустроенный город воспринимается как призрак, он наделен inferнальной силой. Не случайно в голове Нехлюдова появляются странные вопросы: «Хорошо ли я сделаю, уехав в Сибирь? И хорошо ли сделаю, лишив себя богатства?» [Толстой 32: 289] и странные неопределенные ответы: «И ответы на эти вопросы в эту светлую петербургскую ночь, видневшуюся сквозь неплотно опущенную штору, были неопределенные. Все спуталось в его голове. Он вызвал в себе прежнее настроение и вспомнил прежний ход мыслей; но мысли эти уже не имели прежней силы убедительности» [Толстой 32: 289]. Заезжая в гости к своему бывшему товарищу по полку, флигель-адъютанту Богатыреву, Нехлюдов на вопрос о действии на него Петербурга прямо говорит: «Чувствую, что загнипнотизировываюсь» [Толстой 32: 296].

Очень интересно, что пробуждающийся к истинной жизни Нехлюдов иронически начинает относиться не только к окружающим, иными глазами смотрит на высший свет, но критически он воспринимает и самого себя (видение своих внутренних и внешних недостатков — необходимое условие постепенного подъема героя). В черновиках к роману был эпизод, в котором Нехлюдов с отвращением смотрел на отражающееся в зеркале свое лицо. Очень примечательно, что в окончательный текст Толстой этот эпизод не включил: по нашему мнению, писатель убрал его с целью устранить одно из

знаковых соотношений художественного мира своего романа и поэмы Гоголя (Толстому не выгодны и не нужны были аллюзии, связанные с главными героями). В поэме «Мертвые души» примечательным и особенно запоминающимся читателю является внимание Чичикова к своему лицу, к которому он с пристрастием относится и которым на протяжении повествования не раз восторгается. После утреннего пробуждения Чичиков «вспомнил с просиявшим лицом, что у него теперь без малого четыреста душ»: «Тут же вскочил он с постели, не посмотрел даже на свое лицо, которое любил искренно и в котором, как кажется, привлекательнее сего находил подбородок, ибо весьма часто хвалился им пред кем-нибудь из приятелей, особливо если это происходило во время бритья» [Гоголь 6: 135]. Уместно вспомнить и ласковое отношение к себе Чичикова, собирающегося на бал. В эпизоде подготовки к празднику Чичиков в одиночестве рассматривает свое лицо и тренируется придавать ему различные выражения: «Целый час был посвящен только на одно рассматривание лица в зеркале. Пробовалось сообщить ему множество разных выражений: то важное и степенное, то почтительное, но с некоторою улыбкою, то просто почтительное, но без улыбки...». «Наконец он слегка трепнул себя по подбородку, сказавши: “Ах ты мордашка эдакой!” — и стал одеваться» [Гоголь 6: 161]. На фоне такого внимания героя к себе и самообожания особенно резко выглядит разочарованная реплика Чичикова в рассказе автора об общем пути героя, его «взлетах» и «падениях»: «Уже начинал было он полнеть и приходил в те круглые и приличные формы, в каких читатель застал его при заключении с ним знакомства, и уже не раз, поглядывая в зеркало, подумывал он о многом приятном: о бабенке, о детской, и улыбка следовала за такими мыслями; но теперь, когда он взглянул на себя как-то ненароком в зеркало, не мог не вскрикнуть: “Мать ты моя пресвятая! какой же я стал гадкий!”» [Гоголь 6: 234]. В черновиках к роману «Воскресение» Нехлюдов после судебного заседания и начавшегося в нем переворота отправлялся домой, а потом — к Кармалиным (в итоговом тексте — Корчагиным). Толстой продумывал варианты, в которых герой смотрит в зеркало и дома, и в передней у Кармалиных (Корчагиных). Если в итоговом тексте Нехлюдов прежде всего увидит ложь и притворство во всем семействе Корчагиных, то в черновиках, где Алина (в итоговом тексте — Мисси) изображена как исключительно поло-

жительная героиня, Нехлюдов критиковал прежде всего себя, недоумевал, как девушка из образованной дворянской семьи могла его полюбить). Кроме того, обратим внимание, что негодование Чичикова и Нехлюдова по поводу собственного лица звучат в схожие моменты — оба героя задумываются о женщине, о новых формах жизни и примеряют их на себя: «Нехлюдов снял пальто, вынул платок, отер пот и опять по привычке посмотрел в зеркало, и опять его лицо, как что-то неожиданно противное, поразило его. “Как мог я думать, что она (он думал про Алину) может полюбить меня. Разве не видно на этом подлом лице все его мерзкое нечистое прошедшее?”» [Толстой 33: 111]; «“Может быть, лучше бы было, если бы я прошедшее оставил прошедшим, а женился бы на этой прелестной девушке”. ... “Как? Опять назад, — сказал он себе, глядя на себя в зеркало. — Экая мерзкая рожа, — подумал он, глядя на себя, — главное слабая, слабая и гордая» [Толстой 33: 112]. В окончательном тексте эти грубые слова произносит Катюша Маслова, возбужденная вином и обвиняющая Нехлюдова: «Ты мной в этой жизни услаждался, мной же хочешь и на том свете спастись! Противен ты мне, и очки твои, и жирная, поганая вся рожа твоя» [Толстой 32: 166].

Разумеется, в творческой лаборатории писателя «нашелся» лучший вариант реализации этой реплики, которую в процессе работы Толстому оказалось необходимым передать от Нехлюдова к Катюше. В. А. Туниманов обращается к эпизоду из жизни Толстого, когда тот уговаривал юную проститутку простить своего обидчика, приговоренного к заключению в связи с покушением на ее убийство, и сообщает о резком и грубом ответе пострадавшей Толстому: «Вряд ли Толстого огорчила небольшая неудача — во время переписи в Москве он уже сталкивался с непониманием, насмешкой, злобой и успел приглядеться к жертвам общественного темперамента, да и среди пестрой толпы разных людей, скитавшихся вокруг Ясной Поляны, были и талантливые, изошренные ругатели и обличители» [Зверев, Туниманов: 559].

До сих пор литературоведы не обращали внимание на возможные знаковые переклички и соотнесения толстовских героев с гоголевскими. Между тем, по нашему мнению, ряд чиновников — военных, государственных и судебных служащих в романе «Воскресение» может быть сопоставлен с гоголевскими героями. И речь идет не только о

внешнем, условном сходстве изображения у Гоголя и Толстого людей, обладающих властью и положением в обществе, хотя это сходство тоже есть. Одним из его самых наглядных примеров (внешнего сходства) может служить изображение чиновников у Гоголя и Толстого: оба писателя не отвергали государственной службы, в случае с каждым отдельным героем они показывали, как пороки, с которыми не борется человек, сводят к нулю, а то и к отрицательным величинам его ценность как работника. Обратим внимание на ироническое описание судейских у Гоголя и Толстого. Прочитируем небольшой отрывок из эпизода визита Чичикова в палату за совершением купчей: «...один из священнодействующих, тут же находившихся, приносивший с таким усердием жертвы Фемиде, что оба рукава лопнули на локтях и давно лезла оттуда подкладка, за что и получил в свое время коллежского регистратора, прислужился нашим приятелям, как некогда Вергилий прислужился Данту, и провел их в комнату присутствия, где стояли одни только широкие кресла и в них перед столом, за зеркалом и двумя толстыми книгами, сидел один, как солнце, председатель. В этом месте новый Вергилий почувствовал такое благоговение, что никак не осмелился занести туда ногу и поворотил назад...» [Гоголь 6: 144]. А вот небольшой эпизод из толстовского представления судейских в романе «Воскресение»: «Фигуры председателя и членов, вышедших на возвышение в своих расшитых золотом воротниках мундиров, были очень внушительны. Они сами чувствовали это, и все трое, как бы смущенные своим величием, поспешно и скромно опуская глаза, сели на свои резные кресла...» [Толстой 32: 26].

Примечательно, что это общее сходство, можно сказать — этот близкий подход писателей в изображении пороков разных служащих — внимательные критики видели. Л. Д. Опульская обратила внимание на тот факт, как не до конца искренне и по-доброму восприняли роман «Воскресение» чиновники при его появлении: «Первыми взволновались судебные деятели, задетые за живое: в 1899 г. отмечалось 35-летие судебной реформы в России, учредившей институт присяжных заседателей (они-то по ошибке засудили Маслому). 13 августа в газете “Киевлянин” появилось “Открытое письмо графу Л. Н. Толстому”, подписанное: Старый судья. <...>. “Преклоняясь” перед авторитетом “великого европейского писателя”, “старый судья” — “во имя правды” — защищал “тружеников закона”» [Опульская 1998: 362–363].

В № 12 журнала «Вестник Европы» за 1899 г. вышла анонимная статья, автор которой спорил с мнением «старого судьи», усмотревшим в романе «Воскресение» клевету Толстого на отдельных служащих судебного ведомства. Сетования на то, что «в романе Л. Н. Толстого не выведено ни одного “симпатичного и честного” представителя судебного мира, отзываются чем-то затхлым, давно канувшим в вечность. Это — тот же упрек, который отсталые критики сороковых годов делали Гоголю за “Ревизора” и первую часть “Мёртвых душ”. Роман, как и комедия, не исчерпывает целых областей жизни; для него вовсе не обязательно изображать добро параллельно со злом, распределять равномерно свет и тени. Если действующие лица жизненны и правдивы, странно спрашивать себя, нет ли рядом с ними, в той же общественной сфере, других, обладающих совершенно иным душевным складом; странно предполагать, что все не выведенное на сцену как бы не существует для автора» [Из общественной хроники: 898]. Примечательно в данном случае широкое понимание критиком масштабов художественных миров и задач Гоголя и Толстого.

Однако помимо этого внешнего сходства в обличении пороков, в сатирическом изображении чиновников и помещиков можно говорить и о перекличках в образах конкретных героев. Прежде всего, остановимся на находке И. А. Виноградова, показавшего, что «характеристики пяти ключевых, “взаимодополняющих” друг друга главных “строителей наших” — русских поэтов» в статье Гоголя «О движении журнальной литературы» — Жуковского, Батюшкова, Языкова, Державина и Пушкина — «отчетливо напоминают типы, выведенные в образах пяти героев-помещиков первого тому “Мертвых душ”» [Виноградов 2018b: 131]. Это замечательное открытие было сделано ученым уже в XXI в.: ни современники Гоголя, в том числе литераторы, непосредственно погруженные в литературный процесс своего времени, ни критики и ученые XIX и XX вв. не пришли к этому концептуальному и много объясняющему в замысле поэмы и всей предполагаемой трилогии Гоголя соотнесению. С уверенностью нельзя сказать, смог или не смог увидеть указанные И. А. Виноградовым параллели Толстой, по всей видимости, писатель их не увидел. Хотя вопрос этот, конечно, один из самых любопытных: в том случае, если Толстой эти параллели заметил, то можно говорить о еще одном уровне сопоставления героев.

Когда вышел роман «Воскресение», современники Толстого пытались узнать в отдельных персонажах тех или иных представителей высшего света, губернаторов, генералов, чиновников, с которыми встречался или мог быть знаком Толстой. Конечно, достоверно сложно сказать, какое именно влияние оказала на Толстого при создании романа «Воскресение», а тем более отдельных героев поэма «Мертвые души». К. Н. Ломунов справедливо отмечает, что «идейно-художественный замысел романа “Воскресение” возник синтетическим путем, вобрав в себя много слагаемых. Сюжет романа вырос не из одного “зерна”, каким явился “Коневский” сюжет, а из многих “зерен”». «В этом нет ничего неожиданного, — замечает ученый. — Так или почти так складывалась работа Толстого и над другими большими художественными замыслами, надолго завладевшими писателем» [Ломунов: 46].

Согласно справедливому суждению К. Н. Ломунова, образы толстовских персонажей синтетичны. Поэтому черты возможных прототипов, найденные читателями, критиками, литературоведами в тех или иных героях закономерно дополняются возможными литературными влияниями, авторским вымыслом и т. п. Мы не будем в данной работе перечислять уже указанные литературоведами прототипы тех или иных персонажей Толстого, для иллюстрации возможного и плодотворного сочетания разных черт (реальных и литературных) остановимся на факте их соединения лишь на примере первого анализируемого героя, а далее обратимся непосредственно к возможной рецепции Толстым находок Гоголя.

Вероятнее всего, что Толстой как художник по-своему глубоко и пронизательно воспринимал рассуждения Гоголя о жизненности тех типов, которые он описал: «Ноздрев долго еще не выведется из мира. Он везде между нами и, может быть, только ходит в другом кафтане...» [Гоголь 6: 72]. Гоголь задается вопросами, насколько велика пропасть, отделяющая Коробочку «от сестры ее, недосыгаемо огражденной стенами аристократического дома» [Гоголь 6: 58] и каким был бы Собакевич, перемещенный в другое время и другие условия: «Но нет: я думаю, ты все был бы тот же, хотя бы даже воспитали тебя по моде, пустили бы в ход и жил бы ты в Петербурге, а не в захолустье» [Гоголь 6: 106]. Эти объяснения писателя позволяют говорить о том, что сам Гоголь предлагал начало возможных ассоциаций и параллелей, рождающих непре-

рывность повествовательных связей и иллюстрирующих соединенность людей не только в их схожих пороках, но и в их борьбе с ними, грядущем воскресении.

Н. К. Гудзий пишет, что Толстой «нуждался в ряде фактических сведений относительно жизненного уклада и режима тюрьмы и каторги и юридических прав осужденных на каторгу». Именно поэтому «в сентябре 1898 года он, ввиду отказа тульской администрации разрешить ему осмотр местной тюрьмы, вместе с М. А. Стаховичем, бывшим тогда орловским губернским предводителем дворянства, посетил орловскую тюрьму» [Гудзий: 375]. Н. Н. Гусев в воспоминаниях пишет о том, что М. А. Стахович «напомнил Толстому, что он тогда виделся с орловским губернатором и изобразил его в романе под именем Масленникова» [Гусев: 88]. Как мы уже сказали, указанный прототип героя не исключает и возможных литературных параллелей. Образ Масленникова, в прошлом добродушнейшего офицера, а после — администратора — в чем-то напоминает гоголевского Манилова. Как и Манилов, Масленников у Толстого способен к решительным переменам облика и настроения в течение нескольких минут. Так, увидев Нехлюдова, Масленников «рассиял» [Толстой 32: 170], потом с удовольствием рассказывал о своем правлении губернией, но услышав про дело, внезапно перешел на «испуганный и несколько строгий тон» [Толстой 32: 171]. И реплики, и действия довольного Манилова, по словам Гоголя, выглядят чрезвычайно сладкими, даже приторными, а в «приятность, казалось, чересчур было передано сахару; в приемах и оборотах его было что-то заискивающее расположения и знакомства» [Гоголь 6: 24]. Желая доставить приятное Чичикову, Манилов подобострастен и чрезвычайно обходителен: «Вот как, например, теперь, когда случай мне доставил счастье, можно сказать образцовое, говорить с вами и наслаждаться приятным вашим разговором...» [Гоголь 6: 29]. Примерно такую же обходительность и такие же порывы радостного возбуждения, которые передаются от Манилова к Чичикову, испытывает и герой Толстого: «Масленников был в особенно радостном возбуждении, причиной которого было оказанное ему внимание важным лицом» [Толстой 32: 189]. Примечательно, как показательно схожи сравнения. У Гоголя: «Манилов с улыбкою от удовольствия почти совсем зажмурил глаза, как кот, у которого слегка пощекотали за ушами

пальцем» [Гоголь 6: 28]; у Толстого: «...и всякое такое внимание приводило Масленникова в такой же восторг, в который приходит ласковая собачка после того, как хозяин погладит, потреплет, почешет ее за ушами» [Толстой 32: 199].

Адвокат Фанарин, к которому обращается Нехлюдов с просьбой вести дело Масловой, отчасти напоминает гоголевского Ноздрева. Прежде всего, оба героя очень развязны, расчетливы и при всей жадности и тяге к деньгам, легко оперируют большими суммами. Ноздрев при встрече с Чичиковым усиленно хвалит поручика Кувшинникова: «Это не то что прокурор и все губернские скряги в нашем городе, которые так и трясутся за каждую копейку» [Гоголь 6: 66]. Благодаря описанию игры Ноздрева, читатель понимает, что деньги им и ценятся, и нет одновременно. То же самое можно сказать и об адвокате Фанарине, который быстро сколачивает состояние, очень тянется к деньгам, но цены их не знает. Толстой пишет о «дурашных, то есть без труда полученных деньгах» [Толстой 32: 154]. В Фанарине у Толстого, только на несколько иной манер, выражаются многие стороны, описанные в образе Ноздрева. Вранье без всякой нужды Ноздрева перетекает в изобретательность адвоката и его умение использовать информацию в своей работе во благо рассматриваемого дела (по сути это то же вранье, не случайно пришедший Нехлюдов замечает на лице адвоката и выходящего вместе с ним посетителя «то выражение, какое бывает на лицах людей, только что сделавших выгодное, но не совсем хорошее дело» [Толстой 32: 154–155]). Оба героя обладают чрезвычайной юркостью, ловкостью и приспособляемостью к обстоятельствам, оба, по сути дела, игроки — только Ноздрев играет в азартные игры, а для Фанарина игрой становится его работа, перетасовываемые им судьбы и судебные дела. Ноздрев с Чичиковым и — соответственно — Фанарин с Нехлюдовым — сближаются одинаково быстро и смело, хотя для гоголевского героя это сближение не очень понятно и приятно: «Чичиков узнал Ноздрева, того самого, с которым он вместе обедал у прокурора и который с ним в несколько минут сошелся на такую короткую ногу, что начал уже говорить “ты”, хотя, впрочем, он с своей стороны не подал к тому никакого повода» [Гоголь 6: 64]. В свою очередь Нехлюдов чувствует «непреодолимое отвращение» к Фанарину — «этому развязному человеку, тоном своим желающему показать, что он с ним, с Нехлюдовым, одного, а с пришедшими кли-

ентами и остальными — другого, чуждого им лагеря» [Толстой 32: 155]. Интересно, что Ноздрев в поэме Гоголя произнесет пафосный обвинительный монолог против Чичикова, уличая его на балу как новоиспеченного «херсонского помещика», а Фанарин произнесет в романе Толстого не менее пафосную речь в защиту Масловой в сенате. Обе эти речи произведут лишь внешнее действие, но не возьмут решительного результата.

Гоголевскую Коробочку отдаленно напоминает тетушка Нехлюдова, Катерина Ивановна Чарская. Еще в самом начале разговора с Коробочкой Чичиков задает вопросы относительно помещиков, о которых слышала и которых знает помещица. «Какие же есть?» — спрашивает Чичиков. «Бобров, Свиныйн, Канапатьев, Харпакин, Трепакин, Плашек», — отвечает Коробочка [Гоголь 6: 46]. Графиня Чарская в диалоге с племянником перечисляет ему условный состав Сената: Все это бог знает кто — или немцы: Ге, Фе, Де, — *tout l'alphabet*¹, или разные Ивановы, Семеновы, Никитины, или Иваненко, Симоненко, Никитенко, *pour varier. Des gens de l'autre monde*² [Толстой 32: 248]. Приземленность Коробочки и ее желание привлечь Чичикова к приобретениям у нее товаров очень коррелируют с желанием Чарской напрямую знать все перипетии племянника (только своей экономке и Чарской герой рассказывает о себе и Катюше, поскольку обе они знают начало этой истории) и утянуть его на собрания религиозного общества, в частности, — слушать проповедника Кизеветера или к *Mariette*. Уездная старая помещица Коробочка достаточно легко загадывает на картах после молитвы, после чего ей видится черт: «Еще третьего дня всю ночь мне снился окаянный. Вздумала было на ночь загадать на картах после молитвы, да, видно, в наказание-то бог и наслал его» [Гоголь 6: 54]. А столичная графиня Чарская, «шестидесятилетняя, здоровая, веселая, энергичная, болтливая женщина», не так далеко уходит от гоголевской героини, сочетая новое модное учение об искуплении, отвергавшее все христианские обряды, иконы и таинства: «Она ездила на собрания, где проповедовалось это бывшее модным тогда учение, и собирала у себя верующих» с тем, что у нее «во всех комнатах и даже над ее постелью были иконы, и она исполняла все требуемое церковью» [Толстой 32: 248].

¹ весь алфавит (фр.).

² для разнообразия. Люди другого общества (фр.).

Культ вещей и накопительство Коробочки, ее хозяйственные предложения Чичикову о приобретении меда, пеньки, сала, направленные, прежде всего, на последующую возможную закладку «деньжонок в пестрядевые мешочки» [Гоголь 6: 45], в образе петербургской дамы перерастают в рассуждения о роскоши, излишествах, о которых пытается сказать Чарской Нехлюдов: «А ты что же хочешь, чтобы я работала и ничего не ела?». «Нет, я не хочу, чтоб вы не кушали, — невольно улыбаясь, отвечал Нехлюдов, — а хочу только, чтобы мы все работали и все кушали» [Толстой 32: 250].

Старый генерал Кригсмут, к которому Нехлюдов отправляется для смягчения участи заключенных, отдаленно напоминает Собакевича. Интересно, что на спиритическом сеансе у генерала, свидетелем которого становится Нехлюдов, задается вопрос, созвучный осмыслению существования «мертвых душ»: «Блюдечко отвечало на заданный генералом вопрос о том, как будут души узнавать друг друга после смерти» [Толстой 32: 266]. Барон Кригсмут так же, как и Собакевич, не сдвигаем со своих мнений и убеждений. Нехлюдов в ходе визита понимает, что «возражать, объяснять ему значение его слов — бесполезно» [Толстой 32: 269]. Собакевич хоть и ругает знакомых ему представителей власти, но это происходит, как показывает автор, из-за того, что герой этот не любит ни о ком хорошо отзываться. В основе существования Собакевича и генерала Кригсмута оказываются неизменные предписания (для одного — собственные, для барона — предписания свыше, становящиеся его собственными убеждениями): «Заключенные обращались к нему с различными просьбами. Он выслушивал их спокойно, непроницаемо молча и никогда ничего не исполнял, потому что все просьбы были не согласны с законоположениями» [Толстой 32: 266].

Грузный и масштабный Собакевич, с *широкой спиной*, «как у вятских приземистых лошадей» и ногами, «походившими на чугунные тумбы» [Гоголь 6: 106], трапеzia которого чрезвычайно масштабна и обильна, очень мало похож внешне на кощя бессмертного. Но именно это сравнение использует Гоголь: и читатель в ходе осмысления сущности героя понимает, насколько точна характеристика писателя: внешняя широта не скрывает в герое упрямства, сердечной и душевной непробиваемости, равнодушия. Именно таким предстает у Толстого и старый петербургский генерал. Обратим внимание, с каким *одинако-*

вым выражением и внутренним ровным спокойствием Собакевич выслушивает Чичикова, а барон Киргсмут — Нехлюдова.

У Гоголя в «Мертвых душах»: «Собакевич слушал все по-прежнему, нагнувши голову, и хоть бы что-нибудь похожее на выражение показалось на лице его. Казалось, в этом теле совсем не было души, или она у него была, но вовсе не там, где следует, а, как у бессмертного кощея, где-то за горами и закрыта такою толстою скорлупою, что все, что ни ворочалось на дне ее, не производило решительно никакого потрясения на поверхности» [Гоголь 6: 101]. У Толстого в «Воскресении»: «Генерал не выразил никакого ни удовольствия, ни неудовольствия при вопросе Нехлюдова, а, склонив голову набок, зажмурился, как бы обдумывая. Он, собственно, ничего не обдумывал и даже не интересовался вопросом Нехлюдова, очень хорошо зная, что он ответит ему по закону. Он просто умственно отдыхал, ни о чем не думая» [Толстой 32: 268].

Еще раз обратим внимание на гоголевское сравнение с кощеем бессмертным. Если у Гоголя оно используется для описания заключенности души Собакевича в скорлупу, то Толстой реализует это гоголевское сравнение и во внешности старого генерала. У Киргсмута «густые седые брови», «*безжизненные голубые глаза*» (курсив мой. — В. А.), а когда он после спиритического сеанса, «*крякнув от боли в широкой пояснице*, встал во весь свой большой рост, потирая свои окоченевшие пальцы» (курсив мой. — В. А.), он и внешне отдаленно напоминает Собакевича, только генерал уже в преклонных летах и находится на государственной службе. Говорит Генерал решительно и строго, а ходит «*большими шагами невывернутых ног решительной, мерной походкой*» [Толстой 32: 267]. Собакевич у Гоголя — кулак: «Нет, кто уж кулак, тому не разогнуться в ладонь! А разогни кулаку один или два пальца, выйдет еще хуже» [Гоголь 6: 106]. Толстой, словно реализуя гоголевское сравнение, показывает, как генерал на время разгибает кулаки, но лишь затем, чтобы принять участие в спиритическом сеансе: «Тонкие, влажные, слабые пальцы художника были вставлены в жесткие, морщинистые и *окостеневшие в сочленениях пальцы* старого генерала, и эти соединенные руки дергались вместе с опрокинутым чайным блюдечком по листу бумаги с избраженными на нем всеми буквами алфавита» (курсив мой. — В. А.) [Толстой 32: 266].

Наконец, как справедливо отмечали современники писателя и литературоведы, герой романа «Воскресение» Топоров, напоминает К. П. Победоносцева. Так как в данном случае речь идет не только о прототипе, но и о целом эпизоде, имевшем место в реальности, остановимся на нем подробнее. «За его образом стоит вполне реальный прототип, быстро “разоблаченный” уже первыми читателями “Воскресения”, получившими в свои руки полное бесцензурное издание романа. Никто с тех пор не усомнился, что прообразом Топорова послужил обер-прокурор К. П. Победоносцев», — отмечает К. Н. Ломунов о Топорове [Ломунов: 190]. Л. Д. Опульская пишет, что в романе «Воскресение» Толстым в описании визита Нехлюдова к Топорову были использованы рассказы Т. Л. Сухотиной-Толстой, просившей у К. П. Победоносцева решения дела молокан, разлученных с детьми: «Многие детали ее описания совпадают с тем, как изображен разговор Нехлюдова с Топоровым в XXVII главе второй части романа “Воскресение”» [Опульская 1998: 250]. Действительно, детали из дневника Т. Л. Сухотиной-Толстой узнаются в романе, но толстовский образ, конечно, намного шире, несмотря на наличие известного прототипа у героя. Ключевым моментом, использованным писателем из рассказа дочери, как можно судить по воспоминаниям, является тактический ход. Топоров (как и К. П. Победоносцев) прекрасно знал о деле, по которому пришел говорить с ним Нехлюдов, и которое было отложено. И не столько даже напоминание Нехлюдова, сколько составленное им прошение на Высочайшее имя, побудило Победоносцева очень оперативно разрешить дело: «Топоров вспомнил об этом деле, когда оно в первый раз попало к нему. И тогда он колебался, не прекратить ли его. <...> Теперь же с таким защитником, как Нехлюдов, имевшим связи в Петербурге, дело могло быть представлено государю как нечто жестокое или попасть в заграничные газеты, и потому он тотчас же принял неожиданное решение» [Толстой 32: 298].

Однако в рамках проводимого в данной статье сопоставления необходимо отметить, что Топоров заключает в себе и некоторые черты героя Гоголя — помещика Плюшкина. Прежде всего, речь идет о неспособности Плюшкина и Топорова видеть других людей и их интересы, чаяния, стремления, о предельной сосредоточенности исключительно на себе, о страшном эгоизме, полностью закрывающем

от героев окружающий мир, правду, жизнь народа: «Интересы народа, — повторял он слова Топорова. — Твои интересы, только твои», — думал он, выходя от Топорова» [Толстой 32: 299]. Эту параллель заметить в художественном мире романа достаточно сложно, по всей видимости, черты реального прототипа в процессе работы Толстого вытесняли возможные литературные параллели. Между тем, в черновиках Толстой описывал Топорова так: «...человек сухой, ограниченный, и чем выше он поднимался по общественной лестнице, тем более уверявшийся в своих достоинствах и потому тем более тупевший и отстававший от жизни» [Толстой 33: 203]. Убирает Толстой в ходе работы и некоторые портретные детали, в частности, упоминание о «лисьем бритом лице» Топорова [Толстой 33: 205] (тут можно вспомнить и лицо Плюшкина, «как у многих худощавых стариков», и отличие «ключника» от «ключницы», отмечаемое Чичиковым в романе: «...Ключница по крайней мере не бреет бороды, а этот, напротив того, брил, и, казалось, довольно редко, потому что весь подбородок с нижней частью щеки походил у него на скребницу из железной проволоки, какую чистят на конюшне лошадей» [Гоголь 6: 115–116]). Но общее представление о Топорове остается неизменным. Его роднит с Плюшкиным, во-первых, полное отсутствие смысла в его бесконечной деятельности: Нехлюдов «удивлялся, зачем делает то, что он делает, и так озабоченно делает, этот ко всему, очевидно, равнодушный человек. Зачем?...» [Толстой 32: 299], во-вторых, уже даже не осознаваемое обоими, выжившим из ума одиноким помещиком Плюшкиным и занимающим противоречивую по своей сути высокую должность петербургским помещиком Топоровым, *истязание народа*, с которого они постоянно производят поборы.

Во втором томе «Мертвых душ» Чичиков, отправленный генералом к полковнику *Кошкареву*, по ошибке приезжает к *Петру Петровичу Петуху*. Нехлюдов в Петербурге, намереваясь попасть к барону *Воробьеву*, не застаёт его, а отправляется к *Владимиру Васильевичу Вольфу*. Возможную параллель подтверждает и сходство зоологических фамилий, выстроенное по принципу антитезы (Воробьев — Кошкарев, Петух — Вольф (в переводе с немецкого — Волк)).

Петр Петрович Петух и Владимир Васильевич Вольф ведут максимально комфортный для себя образ жизни, не задумываясь о близких. Петух увлечен исключительно вопросами организации питания и от-

дыха в своей усадьбе, которую он, как оказывается, заложил, нисколько не задумавшись над будущим двух сыновей, гимназистов Николаши и Алексаши: «Все пошли закладывать, так зачем же отставать от других? Говорят, выгодно. Притом же все жил здесь, дай-ка еще попробую прожить в Москве. “Дурак, дурак! — думал Чичиков, — промотает все, да и детей сделает мотишками. Оставался бы себе, кулебяка, в деревне”» [Гоголь 7: 50].

Для Владимира Васильевича Вольфа важнее всего жизнь *comme il faut*, которую он устраивает себя на желаемый им образец: «Владимир Васильевич Вольф был действительно *un homme très comme il faut*, и это свое свойство ставил выше всего, с высоты его смотрел на всех других людей и не мог не ценить высоко этого свойства, потому что благодаря только ему он сделал блестящую карьеру, ту самую, какую желал, то есть посредством женитьбы приобрел состояние, дающее восемнадцать тысяч дохода, и своими трудами — место сенатора» [Толстой 32: 258].

Вольф прибирает к рукам состояние жены и свояченицы, не обращает внимания на «кроткую, запуганную, некрасивую дочь, ведущую одинокую тяжелую жизнь» [Толстой 32: 257], выгоняет сына, наделавшего долгов.

А Кошкарев у Гоголя и Воробьев у Толстого — своеобразные карикатуры на засилье и бессмысленность канцелярий, не разрешающих дела, а лишь создающих фон работы и оттягивающих силы от истинного труда. «Завели конторы и присутствия, и управителей, и мануфактуры, и фабрики, и школы, и комиссию, и черт их знает что такое», — говорит о Кошкареве Костанжогло, отмечая самодурство помещика [Гоголь 7: 67]. Почти ту же самую ситуацию видим мы и в романе «Воскресение». Нехлюдов не застаёт барона Воробьева, имеющего значительное влияние *в комиссии прошений* и занимавшего великолепное помещение в казенном доме в первый свой приезд потому, что его, как оказывается, можно найти только по приемным дням, а в день приезда Нехлюдова у него предполагался доклад у императора и на следующий день также какой-то доклад. Вне параллели с образами Гоголя барон Воробьев выглядит еще более или менее серьезно (не воспринимается иронично упоминание о докладах), но при проведении указанного нами соответствия с первых же строк описание деятельности Воробьева превращается в насмешку и иллюзию работы. Воробьев,

сначала ласково улыбающийся Нехлюдову и вспоминающий его матушку, которую он знал, самого Нехлюдова в юности, благосклонно относится к упоминанию о прощении, подготовленному Нехлюдовым по делу осужденной Федосьи. Воробьев даже отдаляется от канцеляризмов и по-человечески вникает в суть просьбы Нехлюдова, но как только последний упоминает о том, что граф Иван Михайлович Чарский хотел просить по этому делу императрицу, Воробьев решительно меняется — ставится под удар система комиссий прощений: «Впрочем, вы подайте прошение в канцелярию, и я сделаю, что могу» [Толстой 32: 265].

Эти достаточно явные переключки художественных миров Гоголя и Толстого, соотношения образов эпической поэмы «Мертвые души» и романа «Воскресение», которые могут быть продолжены и далее, показывают глубокое творческое освоение Толстым замысла Гоголя (вышедшего и за пределы художественного мира «Мертвых душ»), его масштаба и важнейших элементов реализации. В процессе создания своего последнего эпического романа, Толстой анализировал и широко использовал образы и идеи предшественников. И если в пору задумки «Анны Карениной» «уместными» оказались повести и наброски Пушкина, окончательно выведшие Толстого в 1870-е гг. к «новой манере», то в конце 1880-х и в 1890-е гг. писатель переосмысляет гениальные находки Гоголя, пытается вслед за ним соединить воедино прямолинейное и резкое обличение пороков современной действительности (при более пристальном взгляде оказывающихся разными вариациями смертных грехов) с мыслью о своевременности покаяния и радости грядущего Воскресения, подхватывает попытку Гоголя показать воскресающих героев, сложность их борьбы с окружающими, трудности преодоления движения по привычной колее ради пути подъема.

Список литературы
Источники

Гоголь Н. В. Полн. собр. соч.: в 14 т. М.: Изд-во АН СССР, 1937–1952.

Гусев Н. Н. Два года с Л. Н. Толстым. М.: Худож. лит., 1973. 464 с.

Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: в 30 т. Л.: Наука, 1972–1990.

Из общественной хроники. «Воскресение» гр. Л. Н. Толстого, пред судом «Старого судьи» // Вестник Европы. 1899. № 12. С. 896–901.

Сухотина-Толстая Т. Л. Воспоминания. М.: Худож. лит., 1976. 541 с.

Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. в 90 т. М.: Худож. лит., 1928–1958.

Исследования

Андреева В. Г. О национальном своеобразии русского романа второй половины XIX века. Кострома: КГУ, 2016. 492 с.

Андреева В. Г. Образ земли и его функции в романе Л. Н. Толстого «Воскресение» // *Studia Litterarum*. 2020. Т. 5, № 3. С. 236–251. <https://doi.org/10.22455/2500-4247-2020-5-3-236-251>

Бочаров С. Г. Два ухода: Гоголь, Толстой // *Вопросы литературы*. 2011. №1. С. 9–35.

Виноградов И. А. Литературная проповедь Н. В. Гоголя: pro et contra // *Проблемы исторической поэтики*. 2018а. Т. 16, № 2. С. 49–124.

Виноградов И. А. Славянофильство и западничество в споре о поэме Н. В. Гоголя «Мертвые души»: не востребованное и забытое // *Два века русской классики*. 2020. Т. 2, № 1. С. 62–153. <https://doi.org/10.22455/2686-7494-2020-2-1-62-153>

Виноградов И. А. Страсти по Гоголю. О духовном наследии писателя. М.: Вече, 2018b. 320 с.

Воропаев В. А. «Покойника встретить — к счастью». Народные приметы в поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души» // *Русская речь*. 2008. № 2. С. 114–117.

Гольденберг А. Х. Гоголь и Данте как современная научная проблема // Н. В. Гоголь и современная культура: материалы докладов и сообщений Международной научной конференции, Шестые Гоголевские чтения / под общ. ред. В. П. Викуловой. М.: Университет, 2007. URL: http://old.domgogolya.ru/storage/documents/readings/06/goldenberg_a_h_-_gogol_i_dante_kak_sovremennaya_nauchnaya_problema.pdf (дата обращения: 10.11.2021)

Гриффитс Ф. К., Рабинович С. Дж. Третий Рим. Классический эпос и русский роман (от Гоголя до Пастернака) / пер. с англ. Е. Г. Рабинович. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2005. 336 с.

Гудзий Н. К. История писания и печатания «Воскресения» // Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. в 90 т. Т. 33. М.: Худож. лит., 1935. С. 329–422.

Зверев А. М., Туниманов В. А. Лев Толстой. М.: Молодая гвардия, 2007. 782 с.

Золотусский И. П. Толстой читает «Выбранные места из переписки с друзьями» // *Литература*. 2003. № 32. URL: <https://lit.1sept.ru/article.php?ID=200303204> (дата обращения: 10.11.2021)

Куприянова Е. Н. Эстетика Л. Н. Толстого. М.; Л.: Наука, 1966. 324 с.

Лебедев Ю. В. Лев Толстой и «толстовство» // Неутомимые странники: сборник научных статей к 80-летию юбилею докторов филологических наук, профессоров Костромского государственного университета Ю. В. Лебедева и В. В. Тихомирова. Кострома: Костромской гос. ун-т, 2020. С. 39–50.

Ломунов К. Н. Над страницами «Воскресения». История создания романа Л. Н. Толстого. Проблемы, образы, характеры. Первые отклики. Наши современники о романе. М.: Современник, 1978. 381 с.

Манн Ю. В. Поэтика Гоголя. Вариации к теме. М.: Coda, 1996. 474 с.

Михновец Н.Г. Роман Л. Н. Толстого «Воскресение» как эпический: авторский подход к изображению фактов современности и их оценка // Вестник Костромского государственного университета. 2020. Т. 26, № 2. С. 132–138. <https://doi.org/10.34216/1998-0817-2020-26-2-132-138>

Никифоров А. И. «О гоголе». Комментарии // Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. в 90 т. М.: Худож. лит., 1936. Т. 26. С. 874–877.

Опульская Л. Д. Лев Николаевич Толстой: Материалы к биографии с 1886 по 1892 г. М.: Наука, 1979. 287 с.

Опульская Л. Д. Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1892 по 1899. М.: Наука, 1998. 405 с.

Фридендер Г. М. От «Мертвых душ» к «Братьям Карамазовым» // Достоевский. Материалы и исследования. СПб.: Наука, 1996. Т. 13. С. 16–22.

Штаб В. А. Эстетическая позиция Н. В. Гоголя в рецепции Л. Н. Толстого // Вестник Томского государственного университета. 2014. № 382. С. 44–50.

References

Andreeva, V. G. *O natsional'nom svoebrazii russkogo romana vtoroi poloviny XIX veka* [On the National Identity of the Russian Novel of the Second Half of the 19th Century]. Kostroma, KGU Publ., 2016. 492 p. (In Russ.)

Andreeva, V. G. "Obraz zemli i ego funktsii v romane L. N. Tolstogo 'Voskresenie.'" ["The Image of the Land and Its Functions in Tolstoy's Novel 'Resurrection.'"]. *Studia Litterarum*, vol. 5, no. 3, 2020, pp. 236–251. <https://doi.org/10.22455/2500-4247-2020-5-3-236-251> (In Russ.)

Bocharov, S. G. "Dva ukhoda: Gogol', Tolstoi" ["Two Departures: Gogol, Tolstoy"]. *Voprosy literatury*, no. 1, 2011, pp. 9–35. (In Russ.)

Vinogradov, I. A. "Literaturnaia propoved' N. V. Gogolia: pro et contra" ["Literary Preaching of N. V. Gogol: Pro et Contra"]. *Problemy istoricheskoi poetiki*, vol. 16, no. 2, 2018a, pp. 49–124. (In Russ.)

Vinogradov, I. A. "Slavianofil'stvo i zapadnichestvo v spore o poeme N. V. Gogolia 'Mertvye dushi': nevostrebovannoe i zabytoe" ["Slavophilism v. Westernism in the Dispute About Nikolai Gogol's Novel 'Dead Souls': Unclaimed and Forgotten"]. *Dva veka russkoi klassiki*, vol. 2, no. 1, 2020, pp. 62–153. <https://doi.org/10.22455/2686-7494-2020-2-1-62-153> (In Russ.)

Vinogradov, I. A. *Strasti po Gogoliu. O dukhovnom nasledii pisatel'ia* [Gogol Passion. On the Writer's Spiritual Heritage]. Moscow, Veche Publ., 2018b. 320 p. (In Russ.)

Voropaev, V. A. "'Pokoinika vstretit' — k schast'iu. Narodnye primety v poeme N. V. Gogolia 'Mertvye dushi.'" ["'To Meet a Dead is Fortunate'. Folk Omens in N. V. Gogol's Poem 'Dead Souls.'"]. *Russkaia rech'*, no. 2, 2008, pp. 114–117. (In Russ.)

Goldenberg, A. Kh. "Gogol' i Dante kak sovremennaia nauchnaia problema" ["Gogol and Dante as a Modern Scientific Problem"]. *N. V. Gogol' i sovremennaia kul'tura: materialy dokladov i soobshchenii Mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii, Shestye Gogolevskie chteniia* [N. V. Gogol and Modern Culture: Materials of Reports and Messages of the International Scientific Conference, Sixth Gogol Proceedings]. Moscow, Universitet Publ., 2007. Available at: http://old.domgogolya.ru/storage/documents/readings/06/goldenberg_a_h_-_gogol_i_dante_kak_sovremennaya_nauchnaya_problema.pdf (Accessed 10 November 2021) (In Russ.)

Griffits, F. K., Rabinovich, S. Dzh. *Tretii Rim. Klassicheskii epos i russkii roman (ot Gogolia do Pasternaka)* [The Third Rome. Classical Epic and Russian Novel (from Gogol to Pasternak)], trans. from English by E. G. Rabinovich. St. Petersburg, Izdatel'stvo Ivana Limbakha Publ., 2005. 336 p. (In Russ.)

Gudziĭ, N. K. "Istoriia pisanii i pechatanii 'Voskreseniia.'" ["The Creative and Publishing History of 'Resurrection.'"]. Tolstoy, L. N. *Polnoe sobranie sochinenii: v 90 t.* [Complete Works: in 90 vols.], vol. 33. Moscow, Khudozhestvennaia literatura Publ., 1935, pp. 329–422. (In Russ.)

Zverev, A. M., Tunimanov, V. A. *Lev Tolstoi* [Leo Tolstoy]. Moscow, Molodaia gvardiia Publ., 2007. 782 p. (In Russ.)

Zolotusskii, I. P. "Tolstoi chitaet 'Vybrannye mesta iz perepiski s druž'iami.'" ["Tolstoy Reads 'Selected Passages from Correspondence with Friends.'"]. *Literatura*, no. 32, 2003.

Available at: <https://lit.1sept.ru/article.php?ID=200303204> (Accessed: 10 November 2021) (In Russ.)

Kupreianova, E. N. *Estetika L. N. Tolstogo* [Aesthetics of L. N. Tolstoy]. Moscow, Leningrad, Nauka Publ., 1966. 324 p. (In Russ.)

Lebedev, Iu. V. “Lev Tolstói i ‘tolstovstvo.’” [Lev Tolstoy and ‘Tolstoyism.’] *Neutomimye stranniki: sbornik nauchnykh statei k 80-letnemu iubileiu doktorov filologicheskikh nauk, profesorov Kostromskogo gosudarstvennogo universiteta Iu. V. Lebedeva i V. V. Tikhomirova* [Tireless Wanderers: a Collection of Scientific Articles Dedicated to the 80th Anniversary of Doctors of Philological Sciences, Professors of Kostroma State University Yu. V. Lebedev and V. V. Tikhomirov]. Kostroma, Kostromskoi gosudarstvennyi universitet Publ., 2020, pp. 39–50. (In Russ.)

Loimunov, K. N. *Nad stranitsami “Voskreseniia”* [Reading “Resurrection”]. Moscow, Sovremennik Publ., 1978. 381 p. (In Russ.)

Mann, Iu. V. *Poetika Gogolia. Variatsii k teme* [Gogol’s Poetics. Variations on a Theme]. Moscow, Coda Publ., 1996. 474 p. (In Russ.)

Mikhnovets, N.G. “Roman L. N. Tolstogo kak epicheskii: avtorskii podkhod k izobrazheniiu faktov sovremennosti i ikh otsenka” [“The Novel ‘Resurrection’ by Leo Tolstoy as an Epic: the Author’s Approach to the Image of Facts of Contemporaneity and Their Appraisal”]. *Vestnik Kostromskogo gosudarstvennogo universiteta*, vol. 26, no. 2, 2020, pp. 132–138. <https://doi.org/10.34216/1998-0817-2020-26-2-132-138> (In Russ.)

Nikiforov, A. I. “O Gogole. Kommentarii” [“About Gogol. Comments”]. Tolstói, L. N. *Polnoe sobranie sochinenii: v 90 t.* [Complete Works: in 90 vols.], vol. 26. Moscow, Khudozhestvennaia literatura Publ., 1936, pp. 874–877. (In Russ.)

Opuľskaia, L. D. *Lev Nikolaevich Tolstói: Materialy k biografii s 1886 po 1892 g.* [Leo Nikolayevich Tolstoy: Materials for a Biography from 1886 to 1892]. Moscow, Nauka Publ., 1979. 287 p. (In Russ.)

Opuľskaia, L. D. *Lev Nikolaevich Tolstói. Materialy k biografii s 1892 po 1899* [Leo Nikolayevich Tolstoy. Materials for a Biography from 1892 to 1899]. Moscow, Nauka Publ., 1998. 405 p. (In Russ.)

Fridlender, G. M. “Ot ‘Mertvykh dush’ k ‘Brat’iam Karamazovym’.” [“From ‘Dead Souls’ to ‘The Brothers Karamazov’.”] *Dostoevskii. Materialy i issledovaniia* [Dostoevsky. Materials and Research], vol. 13. St. Petersburg, Nauka Publ., 1996. pp. 16–22. (In Russ.)

Shtab, V. A. “Esteticheskaia pozitsiia N. V. Gogolia v retseptsii L. N. Tolstogo” [“N. V. Gogol’s Aesthetic Position in L. N. Tolstoy’s Reception”]. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta*, no. 382, 2014, pp. 44–50. (In Russ.)